Роберт Луис Стивенсон. Путешествие внутрь страны

Перевод Н. Дарузес

Роберт Луис Стивенсон. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1.

М., Правда, 1967

Собрание сочинений выходит под общей редакцией М. Урнова.

OCR Бычков М.Н. mailto:bmn@lib.ru

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Снабжая столь небольшую книгу предисловием, я, быть может, грешу против

законов гармонии. Однако автору трудно устоять перед соблазном написать

предисловие, ибо это его награда за труд. Когда закладывается первый камень, является архитектор со своими чертежами и добрый час расхаживает всем

напоказ. А писателю для этого служит предисловие - ему, возможно, нечего

сказать, но как не показаться хоть на мгновение на крыльце со шляпой в руке

и с видом, исполненным небрежного достоинства!

и с видом, исполненным небрежного достоинства!

При подобных обстоятельствах в манере держаться должен сквозить тонкий нюанс между смирением и надменностью: словно книгу написал кто-то другой, а вы лишь бегло ее просмотрели и вставили все лучшие места. Сам я еще не научился этому фокусу и пока не умею маскировать теплых чувств, которые питаю к читателю, - и уж если встречаю его на пороге, так для того, чтобы пригласить в дом с деревенским радушием.

По правде говоря, едва я прочел гранки этой книжечки, как меня охватило гнетущее предчувствие. Мне пришло в голову, что я могу остаться не только первым читателем этих страниц, но и последним, что, быть может, я напрасно проложил путь в этот весьма приятный уголок - никто не последует за мной сюда. Чем больше я об этом думал, тем меньше нравилась мне эта мысль, так что досада, наконец, сменилась паническим ужасом, и я торопливо набросал предисловие, которое должно только послужить приманкой для читателей.

Что я могу сказать в пользу своей книги? Калеб и Иисус Навин принесли из Палестины внушительную виноградную гроздь - увы, в моей книге нет ничего

столь питательного, да и к тому же мы живем в эпоху, предпочитающую

философские определения любому количеству плодов земных.

Не покажутся ли заманчивыми ее негативные достоинства? Льщу себя

мыслью, что с негативной точки зрения эта книга заслуживает хвалы. Хотя в

ней насчитывается более ста страниц, она не содержит ни единого упоминания о

нелепости вселенной, созданной господом, и даже ни тени намека на то, что я

мог бы создать вселенную куда лучше. Право, не знаю, где была моя голова? Я, кажется, упустил из вида все, дающее повод гордиться тем, что ты человек.

Это упущение лишает книгу какого бы то ни было философского значения, но я

лелею надежду, что подобная эксцентричность может прийтись по вкусу более

легкомысленным кругам.

Другу, который сопровождал меня в этой поездке, я и так уже многим

обязан - и если бы только благодарностью! - но сейчас я питаю к нему

величайшую нежность. Ибо он, во всяком случае, будет моим читателем - хотя

бы для того, чтобы вместе с моим путешествием повторить и свое.

Р. Л. С.

ПОСВЯЩАЕТСЯ

сэру Уолтеру Гриндли Симпсону, баронету.

Дорогой Папироска, достаточно было и того, что вы так безропотно принимали на свои плечи честную долю дождей и байдарок во время нашего путешествия, и того, что вам пришлось так отчаянно грести в погоне за беглянкой “Аретузой”, увлекаемой стремительной Уазой, и, наконец, того, что затем вы доставили мои жалкие останки в Ориньи-Сент-Бенуат, где их ждал желанный ужин. А то, что я, как вы однажды с грустью пожаловались, вложил все крепкие выражения в ваши уста, а высокие размышления приберег для себя, было, пожалуй, даже и лишним. Простая порядочность не позволила мне обречь вас на позор еще одного и куда более публичного кораблекрушения. Но теперь, когда наше с вами путешествие намереваются издать большим тиражом, можно надеяться, что вышеупомянутая опасность уже миновала, и я смело ставлю ваше имя на вымпеле.

Однако я должен безотлагательно оплакать судьбу наших двух кораблей. То был злополучный день, сэр, когда мы задумали стать владельцами баржи и

отправиться на ней в плавание по каналам; и в столь же злополучный день мы открыли нашу мечту слишком оптимистичному мечтателю. Некоторое время весь мир, казалось, улыбался нам. Баржа была куплена и окрещена и уже в качестве “Одиннадцати тысяч кельнских дев” несколько месяцев простояла - объект восторгов всех восторженных душ - на приятной реке под стенами старинного города. Мсье Маттра, искусный плотник из Море, трудился над ней, извлекая из этого порядочный доходец, и вы, верно, помните, сколько сладкого шампанского было поглощено в гостинице у моста, чтобы усугубить рвение рабочих и ускорить работу. На финансовом аспекте этого предприятия я предпочту не останавливаться. Баржа “Одиннадцать тысяч кельнских дев” тихонько гнила на лоне потока, где прежде обрела свою красоту. Ветер так и не наполнил ее парус, и к ней так и не был припряжен терпеливый битюг. И когда наконец негодующий плотник из Море продал ее, вместе с ней были проданы “Аретуза” и “Папироска” - одна из кедра, другая из доброго английского дуба, как хорошо известно нам, кому не раз приходилось переносить ее через шлюзы. Теперь над

этими историческими судами развевается трехцветныи флаг Франции, и они носят

новые, чужестранные названия.

Р. Л. С.

ИЗ АНТВЕРПЕНА В БОМ

В антверпенском порту мы произвели сенсацию. Толпа портовых грузчиков

во главе со стивидором {Стивидор - лицо, заведующее погрузкой и выгрузкой

судов в порту.} подхватила две наши байдарки и бросилась с ними к слипу.

Следом, радостно вопя, бежала ватага мальчишек. “Папироска” со всплеском

вошла в воду, подняв крохотную волну. Через мгновение за ней последовала

“Аретуза”. Вниз по течению бежал пароход, и матросы с кожуха его колеса

выкрикивали хриплые предостережения, а стивидор и его грузчики кричали на

нас с пристани. Но два-три взмаха весла вынесли байдарки на середину Шельды, и все пароходы, все стивидоры и прочая береговая суета остались далеко

позади.

Солнце сияло, шел прилив - добрых четыре мили в час, - дул ровный

ветер, но иногда налетали шквалы. Я прежде никогда не ходил на байдарке под

парусом и предпринял свой первый опыт на середине этой большой реки не без

некоторого трепета. Что произойдет, когда ветер наполнит мой маленький

парус? Наверное, такое чувство испытываешь, проникая в пределы неведомого, выпуская в свет первую книгу, вступая в брак. Но мои тревоги длились

недолго, и вы не удивитесь, узнав, что пять минут спустя я уже закрепил

парус.

Признаюсь, меня самого это обстоятельство несколько поразило; разумеется, плавая в обществе мне подобных на яхте, я всегда закреплял

парус, но в такой капризной скорлупке, как байдарка, да еще при шквалистом

ветре я никак не ждал от себя подобной прыти и с некоторым презрением

подумал о том, что мы слишком трясемся над своей жизнью. Бесспорно, курить

много удобнее, когда парус закреплен, но ни разу прежде мне не приходилось

выбирать между уютной трубочкой и несомненным риском - и я торжественно

выбрал трубку. То, что мы не можем ручаться за себя, пока не подвергнемся

испытанию, - истина избитая. Но далеко не так банальна и куда более приятна

мысль, что обычно мы оказываемся намного храбрее и лучше, чем ожидали. Мне

кажется, каждый человек имел возможность в этом убедиться, но, опасаясь, как

бы не сплоховать в будущем, человечество предпочитает не разглашать этих

ободряющих наблюдений. От скольких тревог был бы я избавлен, если бы в дни

моей юности - как жаль, что этого не произошло! - кто-нибудь объяснил мне, что жизни бояться нечего, что опасности страшней всего на расстоянии, что

лучшие качества человеческой души не поддаются окончательному погребению и

почти никогда - а вернее, просто никогда - не изменяют нам в час нужды.

Однако в литературе мы все предпочитаем играть на сентиментальной флейте, и

никто из нас не хочет встать во главе марширующей колонны, чтобы ударить в

барабан.

Река была очень симпатичной. Мимо проплывали редкие баржи, груженные

сеном. Берега заросли камышом и ивами; коровы и серые почтенные лошади

подходили к парапету и наклоняли к воде кроткие морды. Порой появлялись

окруженные деревьями красивые селения с шумными верфями или виллы на зеленых

лужайках. Ветер лихо гнал нас вверх по Шельде, а потом и по Рюпелу, и мы

неслись довольно быстро, когда на правом берегу показались кирпичные заводы Бома. Левый берег по-прежнему оставался зеленым и сельским, был осенен деревьями, а на лестничках, ведущих к парому, сидели то женщина, подпирая щеку рукой, то старец с посохом и в серебряных очках. Однако Бом и его кирпичные заводы с каждой минутой становились все более безрадостными и дымными, и наконец большая церковь с часами и деревянный мост через реку показали, что мы находимся в центре города.

Бом не слишком приятное место и замечателен только одним: почти все его обитатели в глубине души убеждены, будто умеют говорить по-английски, что, впрочем, фактами не подтверждается. Поэтому все наши переговоры с ними происходили как бы в тумане. Ну, а хуже “Отеля Навигации”, на мой взгляд, во всем Боме нет ничего. В нем имеется зал, где пол усыпан песком, - окна этого зала выходят на улицу, а в глубине располагается буфетная стойка; и еще один зал с песком на полу, более темный и холодный, украшенный лишь пустой птичьей клеткой да трехцветной кружкой для пожертвований - там мы обедали в обществе трех молчаливых юношей, подручных с завода, и безмолвного

коммивояжера. Кушанья, как обычно в Бельгии, носили случайный и неопределенный характер; по правде говоря, мне ни разу не удалось обнаружить, чтобы эти милые люди завтракали, обедали или ужинали: они весь день напролет что-то отведывают и поклевывают в любительском стиле - как бы французском, безусловно немецком и каким-то образом отличном и от того и от другого.

От пустой птичьей клетки, подметенной и начищенной, но не хранившей никаких следов пернатой певуньи, если не считать отогнутых проволочек, куда прежде вставляли кусочек сахара, веяло кладбищенским весельем. Молодые люди не желали разговаривать с нами, как, впрочем, и с коммивояжером, они то изредка перебрасывались вполголоса двумя-тремя словами, то устремляли на нас очки, мерцавшие в свете газового рожка. Ибо все трое были хоть и красивые ребята, но очкастые.

В гостинице имелась английская горничная, которая покинула Англию так давно, что успела набраться своеобразных иностранных выражений и иностранных привычек, о которых тут говорить незачем. Она очень бегло беседовала с

нами

на своем нелепом жаргоне, расспрашивала нас о нынешних английских обычаях и

любезно нас поправляла, когда мы пытались отвечать. Однако, поскольку мы

имели дело с женщиной, может быть, мы все-таки не бросали слова на ветер.

Слабый пол любит набираться знаний, сохраняя при этом тон превосходства.

Неплохая политика, а при данных обстоятельствах и необходимая. Если мужчина

заметит, что женщина восхищается, хотя бы даже его познаниями в географии, он немедленно начнет злоупотреблять этим восхищением. Только постоянно

одергивая нас, могут прелестные создания удерживать нас на подобающем месте.

Мужчины, как сказала бы мисс Хоу или мисс Гарлоу, “такие посягатели”. Сам я

телом и душой на стороне женщин; и если не считать счастливой супружеской

пары, в мире нет ничего прекраснее мифа о божественной охотнице. Вот мужчина

не способен удалиться в леса. Нам ли его не знать! В давние времена святой

Антоний попробовал сделать это, и, по всем сведениям, ему пришлось очень

солоно. Но в женщинах порой бывает нечто, дающее им превосходство даже над

лучшими гимнософистами среди мужчин, - им достаточно самих себя, и они

шествуют по горным ледяным зонам без помощи созданий в брюках. Должен

признаться, вопреки общепринятым эстетическим взглядам, что я куда больше

благодарен женщинам за этот идеал, чем был бы благодарен большинству из них

- а вернее, всем, кроме одной, - за неожиданный поцелуй. Женщина, во всем

полагающаяся только на себя, - какое это освежающее зрелище! И когда я думаю

о стройных, прелестных девушках, всю ночь бегущих по лесам, когда звенит рог

Дианы, мелькающих между дубами, столь же вольными, как и они, когда я думаю

об этих дочерях лесной чащи и звездного света, не оскверненных

соприкосновением с горячим и мутным потоком жизни, которой живут мужчины, я

чувствую, что мое сердце начинает биться при мысли об этом идеале, хотя

найдется немало других, влекущих меня гораздо больше. Это крах жизни, но

какой прекрасный крах! То не потеряно, о чем не жалеют. А во что - это во

мне говорит мужчина, - во что обратилась бы несравненная радость завоевания

любви, если бы прежде не надо было преодолевать презрения?

ПО КАНАЛУ ВИЛЛЕБРУК

На следующее утро, когда мы поплыли по каналу Виллебрук, вдруг полил холодный дождь. Вода в канале была теплой, как налитый в чашку чай, и от этого внезапного ледяного вторжения ее поверхность закурилась паром. Мы только что пустились в путь, байдарки весело слушались каждого удара весла, и радостное возбуждение помогало нам переносить эту беду, а когда туча пронеслась и снова выглянуло солнце, мы воспрянули духом и забыли унылый рефрен: “Лучше бы нам остаться дома”. Деревья по берегам канала шелестели и клонили ветки под натиском довольно сильного ветра. Листва вскипала в буйной игре света и теней. И на глаз и на слух погода казалась идеальной для плавания под парусами, однако берега были высокие, и лишь отдельные слабые порывы ветра достигали воды. Он почти не надувал паруса. Мы продвигались вперед рывками и раздражающе медленно. Шутник с морским прошлым окликнул нас с бечевника:

- C’est vite, mais c’est long {Это быстро, но долго (франц.).}.

На канале царило значительное оживление. Мы то и дело встречали или

обгоняли вереницы барж с зелеными румпелями: высокая корма с окошечками по

обе стороны руля, может быть, с кувшином или цветочным горшком в таком

окошке, привязанный сзади ялик, женщина, стряпающая обед, и куча ребятишек.

Баржи шли караванами по двадцать пять-тридцать штук, а возглавлял процессию

и тащил их за собой пароходик весьма странной конструкции. На нем не было ни

колес, ни винта - с помощью какого-то приспособления, непонятного профанам в

механике, он втаскивал на нос блестящую цепь, протянутую по дну канала, и, опуская ее с кормы, продвигался вперед звено за звеном вместе со всей свитой

нагруженных плоскодонных барж. До того, как мы разгадали эту загадку, что-то

зловещее чудилось в караване, неторопливо плывущем по каналу, когда лишь

рябь у бортов и позади последней баржи показывала, что он продвигается

вперед.

Из всех порождений коммерческой предприимчивости речная баржа

представляется наиболее восхитительным. Она может поставить паруса - и вы

видите, как она плывет высоко над верхушками деревьев и мельниц, плывет по

акведуку, плывет через зеленеющие хлеба - самая живописная из всех амфибий.

Или лошадь бредет шажком, словно в мире не существует деловой спешки, и

человек, дремлющий у руля, весь день видит на горизонте одну и ту же

колокольню. Непонятно, каким образом при подобной скорости грузы все-таки

попадают на место назначения, а баржи, ожидающие своей очереди у шлюза, преподают нам прекрасный урок безмятежности, с какой следует относиться к

миру и его суете. Наверное, на борту там найдется много умиротворенных душ, ибо при такой жизни и путешествуешь и остаешься дома - все вместе.

Над трубой поднимается дым - значит, скоро будет готов обед, - а вы все

плывете, и берега канала неторопливо развертывают свои пейзажи перед

созерцательным взором; баржа минует большие леса и большие города с

множеством общественных зданий и горящих в ночи фонарей; обитатель баржи в

своем плавучем доме, “путешествуя в постели”, славно слушает чью-то историю

или равнодушно перелистывает иллюстрированную книгу. Он может погулять по

чужой стране вдоль берега канала, а потом отправиться домой и пообедать у

своего очага.

Этот образ жизни слишком малоподвижен, чтобы быть чересчур здоровым, однако избыток здоровья необходим только для нездоровых людей. Улитка в

человеческом облике не болеет и н” чувствует себя здоровой, живет тихонько и

умирает легко.

Сам я предпочту судьбу барочника любому самому почетному положению, если оно требует регулярного посещения конторы. Пожалуй, немного найдется

других таких профессий, когда человек столь мало поступается своей свободой

ради возможности есть каждый день. Барочник на борту своего судна - капитан

корабля, он может приставать к суше, где пожелает, его нельзя заставить ухо-

дить от подветренного берега всю морозную ночь напролет, когда паруса тверже

железа; и, насколько я могу судить, время для него настолько неподвижно, насколько это совместимо с наступлением часа обеда или часа отхода ко сну.

Трудно понять, почему барочник все-таки должен когда-нибудь умереть.

На полпути между Виллебруком и Вилворде, в очаровательном месте, где

канал похож на аллею старого парка, мы пристали к берегу перекусить. На

борту “Аретузы” имелось два яйца, краюха хлеба и бутылка вина, а на борту

“Папироски” - два яйца и “Этна”, спиртовый аппарат для приготовления пищи.

Шкипер “Папироски” в процессе высадки разбил одно из яиц, но, бодро сообщив, что его все же можно сварить a la papier {В бумаге (франц.).}, бросил пострадавшее яйцо в “Этну” в оболочке из фламандской газеты. Когда мы высаживались, погода стояла прекрасная, но не провели мы на берегу и двух минут, как ветер начал заметно крепчать, а по нашим плечам застучали капли дождя. Мы пристроились как можно ближе к “Этне”. Спирт пылал чрезвычайно эффектно - трава вокруг то и дело загоралась, и ее приходилось гасить, и вскоре было обожжено несколько пальцев. Однако общее количество приготовленной пищи явно не соответствовало всей этой помпе; когда, дважды приведя аппарат в действие, мы наконец прекратили стряпню, оказалось, что целое яйцо чуть-чуть согрелось, а a la papier представляло собой холодное и мерзкое фрикасе из типографской краски и яичной скорлупы. Тогда остальные два яйца мы решили испечь, положив их возле горящего спирта, - эта операция увенчалась успехом. Затем мы откупорили бутылку и расположились в канавке, закрыв колени фартуками, снятыми с байдарок. Дождь зарядил вовсю. Честные неудобства, когда они не предпринимают тошнотворных попыток выдать себя за

комфорт, становятся источником всяческого веселья, и люди, промокшие и окоченевшие на свежем воздухе, очень склонны смеяться. С этой точки зрения даже яйцо a la papier, предложенное в качестве еды, может сойти за бесхитростную шутку. Однако шутки такого рода, хотя в первый раз их и принимают хорошо, при повторении сильно проигрывают, вот почему дальше “Этна” путешествовала, как аристократка, в рундучке “Папироски”.

Едва мы, поев, продолжили путь и подняли парус, как ветер, само собой разумеется, тотчас стих. Но до Вилворде мы продолжали подставлять паруса обленившейся стихии; и так, то подгоняемые случайным порывом ветра, то работая веслами, тихо плыли от шлюза к шлюзу между двумя рядами аккуратных деревьев.

Это был прекрасный, зеленый, сочный ландшафт, а вернее, одна зеленая водная аллея, которая тянулась от деревни к деревне. Все вокруг имело упорядоченный вид, свойственный давно обжитым местам. Когда мы проплывали под мостами, остриженные в кружок дети, перегнувшись через перила, плевали в нас с истинной консервативностью. Но еще более консервативны были рыболовы, которые не сводили глаз со своих поплавков и не удостаивали нас ни единым

взглядом. Они сидели, примостившись на устоях, быках и просто на берегу, тихо поглощенные своим занятием. Они были безразличны ко всему, как образчики неживой природы. Они не шевелились, словно удили на старинной голландской гравюре. Листья трепетали, по воде бежали маленькие волны, но рыболовы оставались неподвижны, как государственная церковь. Можно было бы трепанировать все их простодушные головы и не найти под черепной крышкой ничего, кроме свернутой рыболовной лески. Мне несимпатичны дюжие молодцы в резиновых сапогах, по грудь в воде штурмующие горные потоки в надежде поймать лосося, но я нежно люблю этот класс людей, предающихся своей бесплодной страсти всю вечность и еще один день над тихими и уже малонаселенными водами.

У последнего шлюза сразу за Вилворде смотрительница говорила по-французски достаточно внятно и сообщила нам, что до Брюсселя еще добрых две лиги. И там же вновь полил дождь. Он чертил в воздухе прямые параллельные линии, и поверхность канала раздробилась на мириады крохотных хрустальных фонтанчиков. Найти ночлег по соседству было нельзя, и нам оставалось только убрать паруса и усердно грести под дождем.

Прекрасные виллы с часами и длинными линиями закрытых ставнями окон, рощи и аллеи великолепных старых деревьев под дождем и в сгущающихся сумерках придавали берегам канала угрюмое величие. Я видел нечто подобное на гравюрах: пышные пейзажи, пустынные и помрачневшие с приближением бури. И до самого конца нас сопровождала тележка с поднятым верхом, которая уныло тряслась по бечевнику, держась у нас за кормой на неизменном расстоянии.

КЛУБ КОРОЛЕВСКИХ ВОДНИКОВ

Дождь прекратился где-то возле Лакена. Но солнце уже зашло, воздух стал прохладным, а у нас на двоих не нашлось бы и одной сухой нитки. К тому же теперь, когда мы почти достигли конца зеленой аллеи и были уже на самом пороге Брюсселя, нам пришлось столкнуться с серьезной трудностью. Вдоль обоих берегов почти вплотную друг к другу стояли баржи, ожидая своей очереди войти в шлюз. Нигде не было видно ни одной удобной пристани, ни даже конюшни, где мы могли бы оставить байдарки на ночь. Мы кое-как выбрались на

берег и вошли в кабачок, где какие-то грустные бродяги пили вместе с

трактирщиком. Трактирщик был с нами немногословен: ни каретных сараев, ни

конюшен, ни еще чего-нибудь поблизости нет. А заметив, что пить мы не

намерены, он выказал явное нетерпение поскорей от нас избавиться. Спас нас

один из грустных бродяг. В одном конце залива имеется слип, сообщил он нам, и еще что-то, что он точно описать не сумел, но тем не менее его слушатели

воспрянули духом.

И действительно, в конце залива имелся слип, а наверху слипа два

симпатичных юноши в матросских костюмах. Аретуза обратился к ним с вопросом, и один из них сказал, что пристроить на ночь наши байдарки будет совсем

нетрудно, а другой, вынув папиросу изо рта, осведомился, не фирмы ли они

“Сирл и сын”. Это имя вполне заменило визитную карточку. Из лодочного сарая

с вывеской “Клуб королевских водников” вышло еще шестеро молодых людей, тотчас присоединившихся к нашей беседе. Все они были очень любезны, словоохотливы и полны восторга, а их речь изобиловала английскими лодочными

терминами, названиями английских лодочных фирм и английских лодочных клубов.

К стыду своему, я не знаю ни единого места в моей родной стране, где меня с

подобной радостью приняло бы такое же число людей. Мы были английскими

любителями водного спорта, и бельгийские любители водного спорта кинулись нам на шею. Не знаю, такой ли сердечностью приняли английские протестанты французских гугенотов, когда те бежали за Ла-Манш, спасаясь от гибели. Впрочем, какая религия сплачивает людей теснее, чем занятие одним видом спорта?

Байдарки внесли в лодочный сарай, клубная прислуга вымыла их, паруса были повешены сушиться, и все стало чистым и аккуратным, как картинка. А нас тем временем новообретенные братья - так они сами себя именовали - повели наверх и отдали в наше распоряжение свою умывальную. Один одолжил нам мыло, другой - полотенце, еще двое помогли развязать мешки. И все это сопровождалось такими вопросами, такими заверениями в уважении и любви! Признаюсь, только тут я понял, что такое слава.

- Да-да, “Клуб королевских водников” - старейшинй клуб в Бельгии.

- У нас членов - двести человек.

- Мы… (тут я привожу не слова кого-то одного, но экстракт из многих речей, впечатление, оставшееся у меня после долгих разговоров, и, на мой взгляд, это была очень юная, милая, безыскусственная и патриотичная

похвальба) …мы выигрывали все гонки, за исключением тех, в которых французы обставляли нас нечестным образом.

- Оставьте здесь вашу мокрую одежду, ее высушат.

- О! Entre freres! {Между братьями! (франц.).}. В любом английском лодочном клубе нас встретили бы так же! (От души надеюсь, что так оно и было бы!)

- En Angleterre vous employez des sliding-seats, n’est-ce pas? {Вы в Англии пользуетесь подвижными сиденьями, правда? (франц.).}

- Днем мы все работаем в торговых конторах, но вечером, voyez-vous, nous sommes serieux {Вы видите, мы серьезны (франц.).}.

Так он и сказал. День все они посвящали легкомысленным торговым делам Бельгии, но по вечерам выкраивали несколько часов для серьезных сторон жизни. Быть может, мое представление о мудрости неверно, но, мне кажется, это были очень мудрые слова. Люди, занимающиеся литературой и философией, весь день отдают тому, чтобы избавиться от подержанных идей и ложных норм.

Это их профессия - в поте чела упорно мыслить, чтобы вернуть себе прежний свежий взгляд на жизнь и разобраться, что действительно нравится им самим, а с чем они волей-неволей научились мириться. В сердцах же этих королевских водников умение различать было еще живо. Они еще хранили чистое представление о том, что хорошо и что дурно, что интересно и что скучно

представление о том, что хорошо и что дурно, что интересно и что скучно, -

представление, которое завистливые старцы именуют иллюзией. Кошмарная

иллюзия пожилого возраста, медвежьи объятия обычаев, по каплям выжимающие

жизнь из человеческой души, еще не завладели этими юными бельгийцами, рожденными под счастливой звездой. Они еще понимали, что интерес, который

вызывает у них их коммерческая деятельность, - ничтожный пустяк в сравнении

с их пылкой многострадальной любовью к лодочному спорту. Зная, что нравится

тебе самому, и не говоря смиренно “аминь”, когда свет заявляет, что тебе

должно нравиться что-то иное, ты сохраняешь свою душу живой. Подобный

человек бывает духовно щедр, он честен не только в коммерческом смысле этого

слова, он выбирает своих друзей, руководствуясь личными симпатиями, вместо

того, чтобы принимать их как неизбежный придаток к занимаемому им положению.

Короче говоря, он человек, который действует согласно собственным

побуждениям, сохраняя себя таким, каким его создал бог, - а не просто

рычажок в социальной машине, приклепанный согласно принципам, ему

непонятным, во имя цели, ему неинтересной.

Разве кто-нибудь посмеет сказать мне, что конторская деятельность приятнее возни с лодками? Тот, кто так думает, либо никогда не видел лодок, либо никогда не видел контор. И первые, во всяком случае, гораздо полезнее для здоровья. Самым важным делом для человека должно быть его любимое развлечение. Противопоставить этому можно только алчную погоню за деньгами; один лишь “Маммона, дух бесчестнейший из всех, низринутых с небес”, посмел бы возразить хоть слово. Только лживые ханжи и лицемеры могут утверждать, будто коммерсант и банкир - это люди, бескорыстно трудящиеся на благо человечества, а посему всего более полезные ему именно тогда, когда они наиболее поглощены своими сделками. Это не так, ибо человек важнее своей службы. А когда мой королевский водник оставит свою исполненную надежд юность так далеко позади, что будет испытывать горячий интерес только к гроссбуху, то, смею сказать, он будет уже куда менее симпатичен и вряд ли с таким радушием встретит двух промокших до костей англичан, которые в сумерках приплывут на байдарках в Брюссель.

Когда мы переоделись и выпили по стакану светлого пива за процветание клуба, один из юношей проводил нас до гостиницы. Отобедать с нами он отказался, но готов был выпить стаканчик вина. Энтузиазм - штука весьма

утомительная, и я начал понимать, почему пророки были столь непопулярны в

Иудее, где их знали лучше всего. Три мучительных часа этот превосходный

молодой человек сидел с нами и разглагольствовал о лодках и лодочных гонках, а перед уходом любезно распорядился, чтобы нам в спальню подали свечи.

Время от времени мы пытались переменить тему, но это удавалось нам лишь

на краткое мгновение: королевский водник становился на дыбы, шарахался в

сторону, отвечал на вопрос и вновь кидался в бушующие валы своей излюбленной

темы. Я называю это его темой, но боюсь, он был не хозяином ее, а рабом.

Аретуза, для которого любые гонки и скачки - порождение дьявола, оказался в

тяжелом положении. Он не смел выдать своего невежества и, чтобы не посрамить

честь Старой Англии, рассуждал о знаменитых английских клубах и знаменитых

английских гребцах, дотоле ему вовсе не ведомых. Несколько раз, особенно

когда речь зашла о подвижных сиденьях, его чуть было не разоблачили. Что до

Папироски, который в буйную пору юности участвовал в лодочных гонках, но

ныне отрекается от грехопадений тех легкомысленно потраченных лет, то его

положение было даже еще более отчаянным, ибо королевский водник предложил

ему пройти завтра на одной из их восьмерок, дабы они могли сравнить

английскую и бельгийскую греблю. Каждый раз, когда об этом заходила речь, на

лбу моего друга выступал холодный пот. Точно так же подействовало на нас и

еще одно предложение юного энтузиаста. Оказалось, что чемпион Европы по

байдарке (как, впрочем, и большинство остальных чемпионов) был членом “Клуба

королевских водников”. И если бы мы только подождали до воскресенья, этот

адский гребец милостиво проводил бы нас до следующей нашей остановки. Но мы

- ни тот и ни другой - не испытывали ни малейшего желания гнать солнечных

коней вперегонки с Аполлоном.

Когда молодой человек ушел, мы отменили распоряжение насчет свечей и

заказали коньяку и воды. Пучина сомкнулась над нашими головами. Королевские

любители водного спорта были на редкость славными юношами, но они были

немножечко слишком юны и чуть-чуть слишком любили водный спорт. Нам стало

ясно, что мы старые циники: нам нравилось тихое безделье и приятные размышления о том о сем; мы не желали опозорить нашу страну, сбив с темпа восьмерку или жалко влачась в кильватере чемпиона по байдарке. Короче говоря, нам пришлось спасаться бегством. Это отдавало неблагодарностью, но мы постарались возместить свою невежливость карточкой, исписанной изъявлениями искреннейшей признательности. Нам было не до церемоний: мы уже чувствовали на своих затылках жаркое дыхание чемпиона.

В МОБЕЖЕ

Под влиянием ужаса, который мы испытывали перед нашими добрыми друзьями - королевскими водниками, а также учитывая, что между Брюсселем и Шарлеруа нам пришлось бы пройти не менее пятидесяти пяти шлюзов, мы решили остальную часть пути до границы проехать на поезде вместе с байдарками и прочим багажом. Пройти пятьдесят пять шлюзов за один день практически означало бы проделать весь этот путь пешком, таща байдарки на плечах, к великому удивлению деревьев над каналом и под градом насмешек всех нормальных детей.

Пересечь границу даже на поезде Аретузе далеко не просто. Почему-то любому чиновнику он кажется подозрительным субъектом. Где бы он ни проезжал, там всегда собирается чиновничий конклав. Во всем мире торжественно подписываются договоры, от Китая до Перу величественно восседают послы, посланники и консулы, и “Юнион Джек” развевается на всех ветрах; под этой внушительной охраной дородные священники, школьные учительницы, джентльмены в серых костюмах из твида и всяческая мелочь английского туризма со справочниками в руках без малейших помех раскатывают по континентальным железным дорогам, и все же худощавая особа Аретузы застревает в ячеях сети, тогда как эти крупные рыбы весело продолжают свой путь. Если он путешествует без паспорта, то его без лишних разговоров ввергают в гнусное узилище, если же его бумаги в порядке, то ему, правда, позволяют следовать дальше, но только после того, как он до дна изопьет унизительную чашу всеобщего недоверия. Он с рождения британский подданный, и все же ему ни разу не удалось убедить в этом ни единого чиновника. Он льстит себя мыслью, что не лишен честности, и все же его в лучшем случае принимают за шпиона, и нет такого нелепого или злонамеренного способа добывания хлеба насущного, который не приписывался бы ему в пылу чиновничьего или гражданского недоверия…

Это просто уму непостижимо. И я по призыву колокола ходил в церковь и

сидел за столом хороших людей, но это не оставило на мне ни малейшего следа.

Чиновничьим очкам я непонятен, как индеец. Они поверили бы, что я уроженец

какого угодно края, но только не моего собственного. Мои предки трудились

напрасно, и в моих скитаниях за границей славная конституция мне не защита.

Поверьте, быть приличным образчиком своего национального типа - великое

дело.

Никого по дороге в Мобеж не просили предъявить документы, кроме меня! И

хотя я отчаянно цеплялся за свои права,, мне наконец пришлось смириться с

унижением, чтобы не отстать от поезда. Я сдался, скрепя сердце, - но ведь

мне надо было ехать в Мобеж!

Мобеж - город-крепость с очень хорошей гостиницей “Большой олень”. Он, по-видимому, населен солдатами и коммивояжерами: во всяком случае, мы больше

никого там не видели, если не считать коридорных. Нам пришлось задержаться

там, потому что байдарки не торопились к нам присоединиться; в конце концов

они прочно сели на мель в таможне, и мы должны были вернуться к ним на

выручку. Делать нам было нечего, осматривать - тоже. Кормили нас, к счастью, хорошо, но и только.

Папироску чуть было не арестовали за попытку зарисовать фортификации, чего он даже при всем желании не сумел бы сделать. А кроме того, мне

кажется, каждая воинственная нация уже имеет планы всех чужих укреплений, и

подобные предосторожности более всего напоминают попытку запереть конюшню

после того, как коня угнали. Но, без сомнения, они способствуют поддержанию

духа у населения. Великое дело, если людей удается убедить, что они каким-то

образом причастны к свято хранимой тайне. Это придает им значение в

собственных глазах. Даже масоны, чьи секреты разоблачались всеми, кому не

лень, сохраняют известную гордость; и любой бакалейщик, хотя в глубине души

он и сознает, какой он безобидный и пустоголовый простак, возвращаясь с

одного из "застолий", ощущает себя необыкновенно важной персоной.

Странно, как хорошо живется двум людям - если их двое - в городе, где у

них нет знакомых. По-моему, созерцание жизни, в которой ты не участвуешь, парализует личные желания. И ты с охотой довольствуешься ролью зрителя.

Булочник стоит в дверях своей лавки; полковник с тремя медалями на груди

проходит вечером мимо, направляясь в кафе; солдаты бьют в барабаны, трубят “

горны и расхаживают на часах у фортов, храбрые, как львы. Невозможно

подобрать слова, чтобы описать, насколько умиротворенно ты созерцаешь все

это. В родных местах нельзя сохранить безразличие: ты сам участвуешь в

событиях, в армии служат твои друзья. Но в чужом городе, не настолько

маленьком, чтобы он сразу стал привычным, и не настолько большом, чтобы

обхаживать путешественников, ты оказываешься так далеко от всего, что просто

забываешь, как можно в чем-то участвовать; вокруг нет ничего по-человечески

близкого, и ты уже не помнишь, что ты человек. Возможно, в скором времени ты

вообще перестанешь быть человеком. Гимнософисты удаляются в лесные дебри, где их окружает буйная жизнь природы, где все дышит романтикой, - нет, было

бы куда полезнее для их цели, если бы они поселились в скучном

провинциальном городке, где видели бы ровно столько образчиков человеческой

породы, сколько необходимо, чтобы рассеять тоску по людям, и где перед ними

были бы лишь приевшиеся внешние стороны человеческого существования. Эти

внешние стороны так же мертвы для нас, как многие церемонии, и говорят

с

нашими глазами и ушами на мертвом языке. Они столь же бессмысленны, как

слова присяги или приветствие. Мы так привыкли видеть супружеские пары, шествующие в церковь по воскресеньям, что уже не помним, символом чего они

являются, и романистам даже приходится оправдывать и превозносить адюльтер, когда они хотят показать нам, как это прекрасно, если мужчина и женщина

живут только друг для друга.

Однако в Мобеже нашелся человек, который позволил мне заглянуть за свой

фасад. Это был кучер омнибуса нашей гостиницы - насколько помню, ничем не

примечательный на вид коротышка, но с какой-то человеческой искрой в душе.

Он прослышал про наше маленькое плавание и явился ко мне, полный

восторженной зависти. Как он жаждет путешествовать! Как ему хочется побывать

в других местах и посмотреть мир, прежде чем он сойдет в могилу!

- Ну, что у меня есть? - сказал он. - Я еду на станцию. Ну, ладно. А

потом я еду назад к гостинице. И так каждый день всю неделю. Бог мой, разве

это жизнь?

Я тоже не мог назвать это жизнью - для него. Он настойчиво расспрашивал

меня о том, где я побывал и куда еще намерен отправиться, и, слушая меня, он

вздыхал - я не преувеличиваю. Может быть, он стал бы мужественным

исследователем Африки, может быть, он поплыл бы с Дрейком к Индиям? Но наш

век немилостив к людям с цыганскими наклонностями. Кто умеет плотнее других

сидеть на конторском табурете, тот и завоевывает богатство и славу.

Хотел бы я знать, служит ли мой приятель по-прежнему кучером в “Большом

олене”. Навряд ли; мне кажется, когда мы приехали в Мобеж, он уже готов был

взбунтоваться, и встреча с нами могла послужить последней каплей. В тысячу

раз лучше, если он стал бродягой, чинит тазы и кастрюли где-нибудь у дороги, спит под деревьями, и каждый день утренняя и вечерняя заря пылает для него

на новом горизонте. Вы, кажется, сказали, что быть кучером омнибуса - весьма

респектабельное занятие? Прекрасно. Так какое же право имеет тот, кому это

респектабельное занятие не нравится, препятствовать другим воссесть на козлы

своего омнибуса? Предположим, мне не понравилось какое-нибудь кушанье, а вы

сообщили мне, что остальное общество питает к нему пристрастие. Какой вывод

должен был бы я сделать из ваших слов? Неужели мне следовало бы продолжать

насиловать мой желудок? Респектабельность - вещь по-своему неплохая, но она

не превыше всего. Я не посмею, конечно, намекнуть, что это - дело только

вкуса; однако я рискну сказать следующее: если какое-либо занятие человеку

явно не по душе, неприятно, необязательно и, в сущности, бесполезно, то, будь оно респектабельно, как англиканская церковь, чем скорее он его бросит, тем лучше для него самого и для всех, кого это касается.

ПО КАНАЛУ САМБРЫ

В КАРТ

Часа через три весь “Большой олень” отправился проводить нас к реке.

Кучер омнибуса смотрел на нас тоскливыми глазами. Бедная птица в клетке! Как

памятно мне время, когда я сам бродил по станционной платформе, смотрел, как

поезда один за другим уносят в ночь свой груз свободных людей, и жадно читал

в расписании названия далеких городов!

Мы еще не миновали все форты, как начался дождь. Лобовой ветер налетал

яростными порывами, а пейзаж вполне гармонировал с безжалостностью небесных стихий. Мы плыли вдоль изуродованных берегов, покрытых редким кустарником, но зато щеголяющих разнообразием фабричных труб. Мы сделали привал на замусоренном лужке, где торчало несколько древесных стволов с обрубленными ветвями, и выкурили по трубочке, пользуясь тем, что выглянуло солнце. Однако ветер был так силен, что мы, собственно, курили только его. Окрестный пейзаж не радовал глаз никакими природными красотами, кроме грязных мастерских. Стайка детей во главе с высокой девочкой остановилась в двух шагах от нас и внимательно наблюдала за нами до самого нашего отъезда. Я был бы рад узнать, что они о нас думали.

Шлюз в Омоне оказался почти непреодолимым препятствием, так как место причала располагалось под высоким и крутым берегом, а спуск находился оттуда очень далеко. Человек десять прокопченных рабочих пришли нам на помощь. От вознаграждения они отказались наотрез и - что еще лучше - с истинным благородством, не оскорбившись и не оскорбляя. “Такой уж обычай в наших местах”, - объяснили они. Прекрасный обычай! В Шотландии, где вам тоже

помогут бескорыстно, добрые люди отвергнут ваши деньги так, словно вы пытаетесь подкупить избирателя. Коль скоро человек готов утрудить себя достойным поступком, то, право, стоит сделать еще одно небольшое усилие и не посягать на достоинство тех, кому помогаешь. Однако в наших бравых саксонских странах, где мы семьдесят лет бредем по грязи, с рождения и до смерти внимая свисту ветра,, мы и добро и зло творим надменно, почти вызывающе, даже милостыню превращая в свидетельство собственной добродетели и в акт войны против несправедливости.

За Омоном снова выглянуло солнце, а ветер стих; после нескольких минут усердной гребли заводы остались позади, и мы очутились в очаровательном краю. Река здесь вилась среди пологих холмов, и солнце то светило нам в спину, то оказывалось прямо впереди, превращая реку в поток непереносимого сияния. По обеим сторонам тянулись луга и яблоневые сады, отделенные от воды лишь полоской осоки и водяных лилий. Изгороди были очень высоки и опирались на стволы могучих вязов, так что поля, порой очень маленькие, казались рядами беседок над рекой. Дали были от нас заслонены, лишь изредка над ближайшей изгородью вдруг вздымалась лесистая вершина холма, создавая

средний план, - и все. Небо было безоблачно. Воздух после дождя чаровал чистотой и прозрачностью. Река петляла между холмов, сверкая, как зеркало, и каждый удар весла заставлял вздрагивать лилии у берега.

По лугам бродили причудливо узорные черно-белые коровы. Одна, с белой мордой и глянцевито-черным туловищем, подошла к воде напиться и, когда я проплывал мимо, смотрела на меня, задумчиво подергивая ушами, точно комичный священник в какой-нибудь пьесе. Через секунду я услышал громкий всплеск и, оглянувшись, увидел, что “священник” с трудом выкарабкивается на обрушившийся берег.

Кроме коров, мы не видели ни единого живого существа, если не считать нескольких птиц и множества рыболовов. Эти последние сидели на бережку с удочками - кто с одной, а кто и с десятком. Они, казалось, цепенели в блаженстве, и те из них, кого нам удавалось втянуть в обмен репликами о погоде, отвечали нам тихим и рассеянным голосом. Они как-то странно расходились во мнениях относительно того, какая именно рыба привлекла их сюда со всей их наживкой, но в одном были единодушны: этой рыбой река изобилует. Когда мы убедились, что ни одному из них никогда не попадалась на

крючок рыба той породы, которую постоянно ловил его сосед, мы невольно заподозрили, что никто из них вообще в жизни не поймал ни одной рыбешки. Но так как день был удивительно хорош, я от души надеюсь, что терпение каждого из них было вознаграждено, и каждый отправился домой, неся полную корзинку серебристой добычи. Кое-кто из моих друзей начнет стыдить меня за это пожелание, но мне человек, будь он даже удильщиком, куда приятнее самой лучшей пары жабер во всех господних водах. К рыбам я не питаю ни малейшей нежности, кроме тех случаев, когда их подают к столу под белым соусом, тогда как удильщик - это весьма существенная часть речного пейзажа, а посему заслуживает известного признания со стороны байдарочников. Он всегда вежливо ответит, где ты находишься, а его недвижная фигура отлично оттеняет окружающую пустынность и безмолвие, напоминая к тому же о сверкающих обитателях глубин под днищем твоей байдарки.

Самбра так трудолюбиво выписывала узоры среди своих холмов, что было уже начало седьмого, когда мы подошли к шлюзу в Карте. Папироска вступил в

шутливую перебранку с ватагой ребятишек, которые бежали рядом с нами по бечевнику. Тщетно я взывал к его благоразумию. Тщетно я убеждал его на нашем родном языке, что нет на свете существа опаснее мальчишки: стоит только им ответить, и града камней тебе не избежать. Что до меня, то на все обращенные ко мне реплики я лишь кротко улыбался и покачивал головой, словно был существом вполне безобидным и не понимал ни слова по-французски. Мой прошлый опыт на родных реках был таков, что я предпочту столкнуться нос к носу с любым кровожадным хищником, чем встретиться с компанией здоровых и нормальных уличных мальчишек.

Однако я был несправедлив к этим мирным юным эноитянам. Когда Папироска отправился наводить справки, я выбрался на берег, чтобы, покуривая трубку, приглядывать за байдарками, и тотчас стал объектом самого дружеского любопытства. К детям теперь присоединились молодая женщина и кроткого вида юноша без одной руки, так что я почувствовал себя почти в безопасности. Когда я рискнул произнести свое первое французское слово, одна девчушка кивнула со смешной взрослой умудренностью.

- Вот видите, - заявила она. - Он все хорошо понимает, он просто

притворялся.

И все весело засмеялись.

Сообщение о том, что мы приехали из Англии, произвело на них большое

впечатление, и та же девочка не преминула объяснить, что Англия - это остров

“очень далеко отсюда - bien loin d’ici”.

- Это ты правду сказала: очень-очень далеко отсюда, - заметил однорукий

паренек.

Никогда еще меня не охватывала такая тоска по родине: расстояние до

места, где я впервые увидел свет дня, вдруг показалось мне неизмеримым.

Байдарки им очень понравились. И я подметил в этих детях деликатность, про которую стоит рассказать. Последнюю сотню ярдов нашего пути они

оглушительно требовали дать им покататься; и на следующее утро, когда мы

готовились отчалить, они опять оглушили нас той же песенкой; однако в эту

минуту, когда обе байдарки стояли возле берега пустые, не раздалось ни одной

такой просьбы. Деликатность ли? А может быть, они просто боялись пуститься в

плавание в такой чудней лодке? Я ненавижу цинизм даже больше, чем дьявола, -

впрочем, может быть, это одно и то же? И все же цинизм - неплохое

тонизирующее средство, холодный душ и грубое полотенце для сантиментов, совершенно необходимые для чрезмерно чувствительных натур.

От байдарок они перешли к моему костюму. Они не могли насмотреться на красный шарф, служивший мне поясом, а нож исполнил их благоговейного ужаса.

- Вот такие ножи делают в Англии, - сказал однорукий юноша, и я обрадовался, что он не знает, как плохо теперь делают их в Англии. - Они для тех, кто уходит в море, - добавил он. - Чтобы защищаться от больших рыб.

Я чувствовал, что с каждым его словом становлюсь в их глазах все более романтической фигурой. Да, собственно, я и был романтической фигурой. Даже моя трубка, самая обыкновенная французская трубка, казалась им редкостной диковинкой, ибо прибыла сюда издалека. И пусть мои перышки были сами по себе не слишком пышны, зато они были заморскими. Правда, одна деталь моего туалета рассмешила их так, что они забыли про вежливость, - мои парусиновые туфли, давно уже утратившие свой первоначальный цвет. Вероятно, ребятишки не сомневались, что причиной была их местная грязь. Все та же девочка (душа нашего общества) показала для сравнения свои сабо - жаль, что вы не видели, как грациозно и весело она это проделала.

Неподалеку на траве стоял молочный бидон молодой женщины - огромная медная амфора. Я воспользовался возможностью отвлечь всеобщее внимание от моей персоны, а также отплатить похвалой за похвалы. И вот я с большим жаром стал восхищаться формой бидона и его цветом, с полной искренностью уверяя их, что он кажется совсем золотым. Это их ничуть не удивило. По-видимому, такие бидоны были местной гордостью. И дети принялись расписывать, как дороги эти амфоры, - некоторые стоят даже тридцать франков штука! Они сообщили мне, что бидоны возят на осликах по одному с каждой стороны седла - какая богатая попона могла бы с ними потягаться? - и что они есть тут повсюду, а на больших фермах их очень много и совсем огромных.

ПОН-СЮР-САМБР

МЫ - КОРОБЕЙНИКИ

Папироска вернулся с хорошими вестями: в десяти минутах ходьбы отсюда, в местечке, называющемся Пон, есть гостиница. Мы спрятали байдарки в хлебном амбаре и попробовали найти проводника среди ребятишек. Кружок вокруг

нас

сразу распался, а когда мы предложили вознаграждение, ответом было

обескураживающее молчание. Дети, несомненно, считали нас парой разбойников.

Почему бы и не поболтать с нами в людном месте, да к тому же опираясь на

значительное численное превосходство? Но совсем другое дело - отправиться в

одиночку с двумя головорезами, которые в этот тихий вечер точно с неба упали

в их мирную деревушку с ножами за кушаком, овеянные ароматом дальних

странствий. К нам на помощь пришел владелец амбара; выбрав какого-то

мальчугана, он пригрозил ему телесным наказанием, иначе, боюсь, нам пришлось

бы самим отыскивать дорогу. Но, по-видимому, мальчуган страшился хорошо

известного ему хозяина амбара больше, чем таинственных незнакомцев. Однако, я думаю, его сердчишко билось отчаянно, во всяком случае, он старался

держаться впереди на безопасном расстоянии и пугливо на нас оглядывался.

Наверное, вот так на заре мира дети указывали дорогу Зевсу или кому-нибудь

еще из олимпийцев, спустившихся на землю в поисках романтического

приключения.

Мы шагали по грязному проселку, и Карт с его церковью и

трещоткой-мельницей остался позади. С полей брели домой батраки. Нас обогнала бойкая маленькая женщина. Она боком сидела на ослике между двух сверкающих бидонов, то и дело изящно подгоняла ослика каблуками и визгливо окликала прохожих. Но никто из усталых мужчин не трудился ей отвечать. Наш проводник вскоре свернул с дороги и зашагал по тропинке через поле. Солнце уже зашло, но весь западный горизонт перед нами был еще сплошным золотым озером. Через несколько мину* тропка нырнула в узкий проход, похожий на бесконечную решетчатую беседку. По обеим сторонам тянулись темные фруктовые сады,, среди листвы прятались низенькие домики, и дым из труб тянулся к небесам; порой в просветах мелькал огромный золотой щит запада.

Мне еще не приходилось видеть Папироску в столь идиллическом настроении. Восхваляя сельский пейзаж, он положительно впал в поэтический слог. Да и сам я был опьянен не меньше. Теплый вечерний воздух, сумеречные тени, пылающее небо и тишина гармонично аккомпанировали нашей прогулке, и мы оба решили впредь избегать городов и искать ночлега только в деревушках.

Наконец тропинка скользнула между двумя домами и вывела путников на

широкую грязную проезжую дорогу, по обеим сторонам которой, насколько хватал

глаз, тянулось малопривлекательное селение. Дома отстояли от дороги довольно

далеко, и на узких пустырях перед ними виднелись поленницы, тележки, тачки, мусорные кучи и чахлая травка. Слева посреди улицы торчала тощая башня. Чем

она была в прошлые века, я не знаю, - возможно, надежным убежищем в дни

войны, - но теперь наверху виднелся циферблат со стертыми цифрами, а внизу

железный почтовый ящик.

Гостиница, которую нам рекомендовали в Карте, была переполнена, а может

быть, хозяйке не понравился наш вид. Следует упомянуть, что наши длинные

мокрые прорезиненные мешки делали наше обличье не слишком цивилизованным. По

мнению Папироски, мы смахивали на мусорщиков.

- Господа, наверное, коробейники? (Ces messieurs sontdes marchands?) -

осведомилась хозяйка гостиницы и, не дожидаясь ответа, который ей, вероятно, представлялся очевидным, рекомендовала нам отправиться к мяснику - он живет

возле башни и пускает к себе ночевать запоздалых путников.

Мы направили свои стопы туда. Но мясник был уклончив, а все его кровати

были заняты. Или, может быть, ему не понравился наш вид. На прощание он

спросил нас:

- Господа, наверное, коробейники?

Смеркалось уже всерьез. Мы больше не различали лиц прохожих, невнятно

желавших нам доброго вечера. Домовладельцы же Пона, по-видимому, очень

берегли керосин: во всем этом длинном селении ни в одном окне не засветился

огонек. По-моему, нигде в мире не найти другого такого длинного селения, но, возможно, от усталости и разочарования каждый шаг казался нам тремя. В

глубоком унынии мы добрались до последнего трактира и, заглянув в темную

дверь, робко осведомились, нельзя ли нам здесь переночевать. Женский не

слишком приветливый голос ответил утвердительно. Мы сбросили мешки и ощупью

отыскали стулья.

Комната была погружена в непроницаемую тьму, в которой красным светом

светились щели и конфорки топящейся плиты. Но вскоре хозяйка зажгла лампу, чтобы рассмотреть своих новых гостей. Вероятно, причиной того, что она

пустила нас в дом, был мрак, во всяком случае, наша внешность как будто

не

слишком ей понравилась. Мы находились в обширной комнате, почти лишенной

мебели и украшенной двумя аллегорическими литографиями “Музыка” и

“Живопись”, а также текстом закона, запрещающего пьянство в публичных

местах. Сбоку находилась небольшая стойка с полудюжиной бутылок на ней. Два

батрака, устало сгорбившись, ждали ужина; у стола хлопотала некрасивая

девушка с сонным ребенком лет двух на руках.

Хозяйка переставила кастрюли на плите и положила на сковороду

бифштексы.

- Господа, наверное, коробейники? - спросила она резко.

И на этом все разговоры окончились. Мне начало казаться, что мы, пожалуй, и в самом деле коробейники. Мне в жизни не приходилось встречать

людей со столь бедной фантазией, как содержатели гостиниц в Пон-сюр-Самбр.

Однако манеры и прочие внешние признаки, как и банкноты, не имеют

международного хождения. Достаточно пересечь границу, и ваши полированные

манеры не стоят уже ни гроша. Эти эноитяне не видели никакой разницы между

нами и средним коробейником. Более того, пока жарились бифштексы, мы

получили некоторую пищу для размышлений, наблюдая, как безмятежно они

считают нас тем, чем сочли с самого начала, и как вся наша изысканная учтивость, все наши любезные усилия поддержать разговор прекрасно гармонируют с навязанной нам ролью бродячих торговцев. Во всяком случае, это большой комплимент французским коробейникам: даже перед такими судьями мы не могли побить их нашим же собственным оружием.

Наконец нас пригласили к столу. Батраки (у одного из них лицо было изможденным и бледным, словно от постоянного переутомления и недоедания) поужинали тарелкой хлебной похлебки, двумя-тремя картофелинами в мундире, чашечкой кофе, подслащенного патокой, и кружкой скверного пива. Хозяйка, ее сын и упомянутая выше девушка ели то же самое. По сравнению наш ужин мог показаться лукулловым пиром. Нам подали бифштексы - правда, жестковатые, - картофель, сыр, лишнюю кружку пива и кофе с настоящим сахаром.

Видите, что значит быть джентльменом… виноват, коробейником! Прежде я не догадывался, что коробейник может быть важной персоной в харчевне, где столуются батраки, но теперь, оказавшись на один вечер в роли коробейника, я убедился, что дело обстоит именно так. В своем смиренном пристанище он пользуется примерно таким же почетом, как человек, снимающий в столичном

отеле номер с гостиной. Если вглядеться повнимательнее, обнаруживаешь, что классовые различия среди людей неисчислимы, и, возможно, по милости судьбы вообще никто не стоит на нижней ступени лестницы и всякому дано ощущать свое превосходство над кем-то другим, так что ничья гордость не страдает.

Наш ужин не доставил нам большого удовольствия, особенно Папироске. Я же пытался убедить себя, что это просто забавное приключение - и жесткий бифштекс и все прочее. Если верить изречению Лукреция, наш бифштекс должен был стать вкуснее оттого, что рядом ели пустую похлебку. Однако на практике это выглядит совсем иначе. Одно дело знать теоретически, что другим живется хуже, чем тебе, но вовсе не так уж приятно - я сказал бы даже, что это противоречит этикету вселенной, - сидеть с ними за одним столом и пировать, пока они довольствуются черствыми корками. Я не видел ничего подобного с того далекого дня, когда в школе один обжора расправлялся в одиночку с тортом, присланным ему ко дню рождения. Это было, насколько я помню, гнусное зрелище, и мне в голову не приходило, что я сам когда-нибудь окажусь на месте такого обжоры. Но вот вам еще один пример того, что значит быть

коробейником.

Несомненно, беднейшие слои населения в нашей стране отличаются большей добротой и жалостливостью, чем те, кто богаче их. И думается мне, причина тут в том, что рабочий или коробейник не может отгородиться от своих менее преуспевающих ближних. Если он позволяет себе лишнюю кружку пива, ему приходится делать это на глазах десятка людей, которым такая роскошь не по карману. Это ли не заронит ему в душу сочувствия? Вот так бедняк, бредя по жизни, видит ее такой, какова она на самом деле, и знает, что каждый проглоченный им кусок отнят у голодных.

Однако на определенной ступени благосостояния, как при подъеме на воздушном шаре, счастливец минует зону облаков, и с этой минуты он уже не видит, что происходит в подлунном мире. Теперь он созерцает лишь небесные тела, которые содержатся в идеальном порядке и выглядят положительно как новые. Он обнаруживает, что провидение трогательно о нем заботится, и невольно уподобляет себя лилиям и жаворонкам. Разумеется, петь он все-таки не поет, но с каким скромным видом восседает он в своем открытом ландо!

А

вот если бы весь мир обедал за одним столом, подобной философии не поздоровилось бы.

ПОН-СЮР-САМБР

СТРАНСТВУЮЩИЙ ТОРГОВЕЦ

Подобно лакеям в мольеровском фарсе, чью великосветскую жизнь нарушило появление настоящего аристократа, нам суждено было встретиться с настоящим коробейником. А чтобы урок падшим джентльменам вроде нас был еще назидательнее, он оказался коробейником бесконечно более внушительным, чем темные бродяги, какими явно считали нас, - он был точно лев среди мышей, точно броненосец, надвигающийся на две игрушечные лодки. И название коробейника к нему никак не шло: он был странствующим торговцем.

Если не ошибаюсь, была половина девятого, когда этот почтенный коммерсант, мсье Эктор Жильяр из Мобежа, в двуколке, запряженной осликом, подъехал к дверям харчевни и весело окликнул ее обитателей. Это был худой, подвижный болтун, смахивавший немного на актера и немного на жокея. Он, видимо, преуспел в жизни без помощи образования - во всяком случае, он с суровой простотой придерживался в существительных исключительно

суровой простотой придерживался в существительных исключительно мужского рода, а за ужином соорудил несколько образчиков будущего времени самого пышного архитектурного стиля. С ним была его жена, миловидная молодая женщина в желтом платочке, и сын, четырехлетний малыш в блузе и военном кепи. Бросалось в глаза, что ребенок одет значительно лучше родителей. Нам сообщили, что он уже учится в пансионе, но так как начались каникулы, он проводит их с родителями в поездке. Чудесные каникулы, не правда ли? Весь день катить среди зеленых полей рядом с отцом и матерью в двуколке, нагруженной бесчисленными сокровищами, и встречать в глазах деревенских ребятишек зависть и восхищение. Да, во время каникул куда веселее быть отпрыском странствующего торговца, чем сыном и наследником самого богатого владельца бумагопрядильных фабрик в мире. Даже быть владетельным князем… впрочем, если мсье Жильяр-младший не был владетельным князем, значит, мне вообще не доводилось видеть этих высоких особ.

Пока мсье Эктор и сын хозяйки выпрягали ослика и прятали в сохранное место все ценности, сама хозяйка подогрела оставшиеся бифштексы и поджарила ломтиками вареный картофель, а мадам Жильяр разбудила малыша

ломтиками вареный картофель, а мадам Жильяр разбудила малыша, который устал от долгой езды и, ошеломленный светом, дулся и хныкал. Однако едва он совсем проснулся, как начал готовиться к ужину, для чего принялся уписывать сухарь, незрелые груши и холодный картофель, но это, насколько я мог судить, только раздразнило его аппетит.

Хозяйка, движимая материнской гордостью, разбудила свою дочку, и детей познакомили. Жильяр-младший посмотрел на нее, как щенок смотрит на свое отражение в зеркале, прежде чем равнодушно отвернуться. В это мгновение он был всецело занят сухарем. Его маменьку, по-видимому, очень огорчила такая его холодность к прекрасному полу, и она выразила свое негодование с большой откровенностью и вполне уместной ссылкой на его возраст.

Да, конечно, настанет время, когда он будет больше думать о девушках и гораздо меньше - о своей матери; пожелаем же, чтобы ей это действительно было так приятно, как она воображает сейчас. Не странно ли, что те самые женщины, которые изъявляют глубочайшее презрение ко всему мужскому полу, считают самые безобразные его качества милыми и благородными, когда подмечают их у своих сыновей?

Девчушка глядела на него дольше и с большим интересом, - возможно, потому, что находилась у себя дома, тогда как он, искушенный путешественник, привык к самым странным зрелищам. А кроме того, у нее не было сухаря.

Во время ужина говорили только о его высочестве. И отец и мать обожали свое дитя до нелепости. Мсье утверждал, что мальчик умен необыкновенно - он, например, знает имена всех своих соучеников. Когда же проверка на опыте кончилась полным провалом, отец начал восхвалять его редкостную осторожность и требовательность: если его о чем-нибудь спросить, он подумает, подумает, и если не знает ответа, то, “честное слово, он вам этого не скажет” (ma foi, il ne vous le dira pas) - бесспорно, редкая осторожность. Время от времени мсье Эктор, прожевывая мясо, осведомлялся у жены, в каком именно возрасте их малыш сказал такие-то достопамятные слова или совершил такой-то достопамятный поступок; однако я заметил, что мадам чаще всего оставляла эти вопросы без ответа. Она, со своей стороны, не была склонна к хвастовству; зато она без конца ласкала сына, и, по-видимому, ей доставляли истинное наслаждение все счастливые обстоятельства его коротенькой жизни. Ни один школьник не мог бы с таким наслаждением говорить о начинающихся каникулах, забывая о мрачной поре школьных занятий, которая неизбежно последует за ними. Мать с гордостью - может быть, несколько меркантильной - показала его

его карманшки, чудовищно вздувавшиеся от волчков, свистулек и веревочек. Оказалось, что он сопровождает ее в дома, куда она заходит предлагать товары, и получает су с каждой состоявшейся сделки. Короче говоря, эти добрые люди совсем избаловали и испортили мальчишку. Однако они старались привить ему хорошие манеры и бранили, когда за ужином он не всегда вел себя подобающим образом.

В общем, я не слишком обиделся оттого, что меня приняли за коробейника. Если мне и казалось, что я ем изящнее, а мои ошибки во французском языке носят совсем иной характер, то, несомненно, ни хозяйка, ни батраки не замечали никакой разницы. В этой кухне мы и Жильяры выглядели одинаково во всех наиболее существенных отношениях. Разумеется, мсье Эктор чувствовал себя более непринужденно и держался несколько надменно, но и этому было объяснение: он приехал в двуколке, а мы, бедняги, путешествовали пешком. Вероятно, обитатели харчевни не сомневались, что мы изнываем от зависти - похвальной зависти - при виде столь преуспевающего товарища по профессии.

И в одном я убежден: с появлением этих простодушных людей все как-то оттаяли, стали мягче и разговорчивее. Я, может быть, и не доверил бы мсье Эктору очень крупную сумму, но тем не менее я нисколько не сомневаюсь,, что он хороший человек. В нашем пестром мире, заметив в человеке ту или иную добродетель - а особенно встретив семью, живущую в столь добром согласии, - удовлетворитесь этим, а остальное примите как само собой разумеющееся или (еще лучше) дерзко решите, что до остального вам нет дела и что десять тысяч дурных черт не сделают хуже черту прекрасную, даже если она одна-единственная.

Час был уже поздний. Мсье Эктор засветил фонарь и вышел к своей двуколке, молодой же джентльмен совлек с себя большую часть своих одежд и стал заниматься гимнастикой на коленях матери, а затем и на полу под аккомпанемент веселого смеха.

- Ты будешь спать один? - спросила служанка.

- Не бойся, не буду, - ответил Жильяр-младший.

- Но ты ведь спишь один в школе, - возразила мать. - Будь же мужчиной!

Однако он объявил, что школа - это одно, а каникулы - совсем другое; и

в школе спальни общие; затем он прекратил спор поцелуями, что вполне удовлетворило его улыбающуюся мать.

Бояться же, как он выразился, что он будет спать один, действительно не приходилось: на всех троих им предложили только одну кровать. Мы же не согласились вдвоем воспользоваться ложем, предназначенным для одного человека, и получили каморку с двумя кроватями на чердаке, - кроме кроватей, там помещались еще три колышка для шляп и стол. Даже стакана с водой там не нашлось. Но окно, к счастью, открывалось.

До того, как я уснул, чердак заполнили звуки могучего храпа: Жильяры, батраки и обитатели гостиницы, вероятно, все принимали дружное участие в этом концерте. За окном молодой месяц лил яркий свет на Пон-сюр-Самбр и на скромную харчевню, где почивали мы, коробейники.

ПО КАНАЛУ САМБРЫ

К ЛАНДРЕСИ

Утром, когда мы спустились на кухню, хозяйка указала на два ведра с водой у входной двери.

- Voila de l’eau pour vous debarboiller {Вот вам вода, чтобы умыться (франц.).}, - сказала она.

И мы стали по очереди умываться, пока мадам Жильяр на крылечке чистила сапоги мужа и сына, а мсье Эктор, весело посвистывая, раскладывал товары для дневной кампании по полкам большого короба на ремне, который составлял часть его багажа. Тем временем их сын развлекался на полу шутихами “Ватерлоо”.

Да, кстати, а как называются шутихи “Ватерлоо” во Франции? Шутихи “Аустерлиц”? Точка зрения - великое дело. Помните, как путешественник-француз, приехавший в Лондон из Саутгемптона, должен был сойти на вокзале Ватерлоо и ехать через мост Ватерлоо? Кажется, он тут же решил вернуться домой.

Пон расположен на самом берегу реки, но если из Карта по суше до него можно дойти за десять минут, то по воде приходится проделывать шесть утомительных километров. Мы оставили мешки в гостинице и налегке отправились к нашим байдаркам через мокрые сады. Несколько знакомых детей явилось проводить нас, но мы уже не были Таинственными незнакомцами, как накануне. Отъезд куда менее романтичен, чем необъяснимое прибытие в золотом сиянии заката. Внезапное появление призрака способно нас поразить, но

наблюдать, как он исчезает, мы будем уже сравнительно равнодушно.

Добрые обитатели харчевни в Поне, когда мы явились туда за мешками, были потрясены. При виде двух изящных сверкающих лодочек (мы только что протерли их губкой), на каждой из которой трепетал “Юнион Джек”, их осенила догадка, что они принимали под своим кровом ангелов, но не узнали их. Хозяйка стояла на мосту и, возможно, сетовала в душе, что взяла за ночлег так мало; ее сын метался по улице, созывая соседей полюбоваться, и мы уплыли, провожаемые целой толпой восхищенных зрителей. “Господа коробейники”, как бы не так! Слишком поздно вы поняли, какие это были важные особы!

Весь день накрапывал дождь, перемежаясь внезапными ливнями. Мы промокали до костей, потом немного обсыхали на солнце, потом снова промокали. Однако выпадали и блаженные промежутки, в частности, когда мы огибали опушку леса Мормаль, - название было неприятным для слуха, но зато сам лес ласкал зрение и обоняние. Деревья торжественным строем стояли на берегу, купая нижние ветви в воде, а верхние сплетая в высокую стену листвы. Что такое лес, как не город, воздвигнутый самой природой, полный жизнелюбивых и безобидных созданий, где ничто не мертво и ничто не

сотворено

человеческими руками, а сами обитатели - и дома этого города и его

памятники? Ничто не может сравниться с лесом полнотой жизни и в то же время

величием покоя, а двое людей, скользящих мимо на байдарке, ощущают себя по

сравнению с ним ничтожными и шумно-суетливыми.

И бесспорно, из всех ароматов мира аромат леса самый чудесный и

бодрящий. Море обладает грубым, оглушающим запахом, который ударяет в

ноздри, как нюхательный табак, и таит в себе величественные образы водных

просторов и стройных кораблей; однако запах леса мало уступает морскому в

тонизирующих свойствах и намного превосходит его душистостью. Кроме того, запах моря однообразен, а благоухание леса бесконечно богато оттенками, и с

каждым часом меняется не только его сила, но и качество; к тому же разные

деревья, как обнаруживаешь, бродя по лесу, окружены своей особой атмосферой.

Обычно над всем господствует аромат еловой смолы. Однако некоторые леса

более кокетливы в своих привычках, и дыхание Мормаля, доносившееся до наших

байдарок в этот дождливый день, было напоено тончайшим благоуханием

шиповника.

Как жаль, что наш путь не пролегал только по лесам! Деревья - такое благородно” общество. Старый дуб, росший на этом самом месте еще в дни Реформации, более высокий, чем многие церковные шпили, более величественный, чем горный отрог, и в то же время живой, обреченный болезням и смерти, как мы с вами, - это ли не наглядный урок истории? Но бесконечные акры таких патриархов, сплетающих корни, колышущих на ветру зеленые вершины, пока у их колен тянется ввысь могучая молодая поросль, целый лес, здоровый и прекрасный, дарящий цвет солнечным лучам и благоухание воздуху, - разве это не самый торжественный спектакль в репертуаре природы? Гейне хотел бы, подобно Мерлину, покоиться под дубами Бросльянда. А мне мало одного дерева: вот если бы весь лес был единым деревом, как смоковница, то я просил бы похоронить меня под его главным корнем; тогда частички того, что было мной, распространялись бы от дуба к дубу, а мое сознание разлилось бы по всему лесу, сотворив общее сердце для этого собрания зеленых шпилей, чтобы и они могли радоваться своей прелести и величию. Мне кажется, я чувствую, как тысячи белок резвятся в моем гигантском мавзолее, а птицы и ветер весело носятся над его волнующимся лиственным сводом.

Увы! Лес Мормаль - всего лишь роща, и мы скоро оставили его позади. А

дальше, до конца дня, дождь продолжал налетать полосами, а ветер - порывами, и от этой капризной сердитой погоды сердцем овладевала глухая тоска.

Странно! Всякий раз, когда нам приходилось переносить байдарки через шлюз и

мы не могли укрыть наши ноги, обязательно разражался ливень. Обязательно.

Именно такие происшествия вызывают личную неприязнь к природе. Ведь с тем же

успехом ливень мог бы разразиться на пять минут раньше или на пять минут

позже, и невольно проникаешься убеждением, что это делается только тебе

назло. У Папироски был макинтош, и он мог более или менее игнорировать эти

козни. Но мне приходилось терпеть сполна. Я вспомнил, что природа - женщина.

Мой товарищ, пребывавший в менее мрачном расположении духа, с большим

удовольствием выслушивал мои иеремиады и иронически мне поддакивал. Он

незамедлительно приплел к делу приливы, “которые, - заявил он, - были

созданы исключительно для того, чтобы досаждать байдарочникам, а заодно в

потакание пустому тщеславию луны”.

У последнего шлюза перед Ландреси я отказался продолжать путь и под

проливным дождем расположился у берега, дабы выкурить живительную трубочку.

Бодрый старикашка - не иначе, как сам дьявол, по-моему, - подошел к воде и стал расспрашивать меня о нашем путешествии. По простоте душевной я раскрыл ему все наши планы. Он сказал, что в жизни не слышал ничего глупее. Да разве мне не известно, осведомился он, что по всему нашему маршруту тянутся одни сплошные шлюзы, шлюзы, шлюзы, не говоря уж о том, что в это время года Уаза совершенно пересыхает.

- Садитесь-ка в поезд, юноша, - посоветовал он. - И поезжайте домой к папе и маме.

Я был так поражен злоехидством старика, что не мог произнести ни слова. Вот дерево никогда не наговорило бы мне ничего подобного! Наконец я обрел дар речи. Мы плывем от самого Антверпена, сообщил я, а это не так уж мало, и проделаем и весь остальной путь назло ему. И не будь у меня никакой другой причины, я все равно теперь это сделаю, потому что он посмел сказать, будто у нас ничего не получится! Почтенный старец бросил на меня презрительный взгляд, охаял мою байдарку и удалился, покачивая головой.

Я все еще кипел бешенством, когда явилась пара юнцов и, приняв меня за слугу Папироски, - наверное, потому, что я был только в свитере, а он еще и в макинтоше, - принялась задавать мне вопросы про мои обязанности и про характер моего хозяина. Я сказал, что человек он вообще-то неплохой, но вздумалось ему отправиться в это дурацкое путешествие!

- О нет-нет! - сказал один из них. - Не говорите так, оно вовсе не дурацкое; это очень мужественный план и делает ему честь.

Я твердо верю, что это были два ангела, ниспосланные ободрить меня. До чего приятно было повторять зловещие предсказания старца, словно они исходили от меня в моей роли недовольного слуги, и слушать, как эти восхитительные молодые люди небрежно отмахиваются от них, точно от безобидных мух.

Когда я пересказал этот разговор Папироске, он сухо заметил: - У них, должно быть, странное представление об английских слугах! У этого шлюза ты вел себя со мной по-свински.

Я был сконфужен, но, с другой стороны, я же не виноват, что меня вывели из себя.

В ЛАНДРЕСИ

В Ландреси дождь продолжал идти, а ветер - дуть, но мы нашли номер с двумя кроватями, хорошо меблированный, с настоящими кувшинами для воды и настоящей водой в них, и еще обед, настоящий обед, не обиженный и настоящим вином. Пробыв одну ночь коробейником, а весь следующий день - жертвой стихий, я теперь чувствовал, как все эти блага согревают мое сердце, подобно солнечным лучам. Обедал в гостинице и английский скупщик фруктов, разъезжавший по этим краям с бельгийским скупщиком фруктов, а вечером в кафе мы наблюдали за тем, как наш компатриот спустил порядочную сумму, играя в "пробку", - не знаю, почему, но это было нам приятно.

Мы познакомились с Ландреси ближе, чем рассчитывали, так как погода на следующий день словно с цепи сорвалась. Однако это местечко не слишком приспособлено для отдыха во время путешествия, ибо оно состоит почти исключительно из всяческих укреплений. Внутри этих укреплений несколько кварталов жилых домов, длинные казармы и церковь по мере сил выдают себя за город. В здешней коммерции, по-видимому, царит глубокий застой, и лавочник, у которого я купил огниво за шесть пенсов, так расчувствовался, что в

придачу набил мне все карманы запасными кремешками. Единственными общественными зданиями, представлявшими для нас интерес, были гостиница и кафе. Однако мы посетили и церковь. Там покоится маршал Кларк. Но так как мы никогда даже не слышали об этом доблестном воине, то выслушали это известие с неколебимым мужеством.

Во всех гарнизонных городах смена караулов, побудка и прочее вносит в штатскую жизнь романтическую ноту. Горны, барабаны и флейты прекрасны по самой своей природе, а когда они приводят на мысль марширующие армии и живописные опасности войны, то пробуждают в сердце горделивое чувство. Однако в призрачных городках вроде Ландреси, где все остальное застыло в оцепенении, эти атрибуты войны производят особый эффект. Собственно, только они и остаются в памяти. Именно здесь стоит послушать, как проходит во мраке ночной дозор под ритмичный топот марширующих ног и грохот барабана. И ты вспоминаешь, что даже этот городишко представляет собой один из стратегических пунктов великой военной системы Европы и когда-нибудь в

будущем он среди пушечного грома и порохового дыма может на века прославить

свое имя.

И уж во всяком случае, барабан благодаря своему воинственному звучанию, психологическому воздействию и даже благодаря неуклюжей и смешной форме

занимает особое место среди шумовых инструментов. А если правда то, что я

слышал, и барабаны действительно обтягиваются ослиной кожей - о, какая

прихотливая ирония тут заключена! Казалось бы, шкура этого многострадального

животного и при его жизни получает достаточно ударов - то от лионских

уличных торговцев, то от надменных иудейских пророков; но нет! После смерти

бедняги ее сдирают с его измученного крупа, натягивают на барабан и бьют по

ней из ночи в ночь, пока дозоры проходят по улицам всех гарнизонных городов

Европы. И на высотах Альмы и Спихерена, как повсюду, где смерть вздымает

свой багряный стяг и выбивает собственную могучую дробь при помощи пушек, непременно есть и барабанщик, который с бледным лицом бежит вперед, переступая через тела павших товарищей, и бьет и терзает этот лоскут кожи с

чресел миролюбивого и кроткого осла.

Обычно человек, осыпающий ударами ослиную шкуру, только напрасно тратит

время. Мы знаем, что при жизни осла это не приносит ни малейшей пользы и

упрямая скотина не убыстряет шага, несмотря на все побои. Однако, когда, грустно пережив самое себя, мумифицированная кожа гремит в такт движениям

кистей барабанщика и звонкая дробь проникает в самое сердце человека и

вливает в него то безумие, ту безотчетность порывов, которую мы со

свойственной нам напыщенностью зовем героизмом, - разве тут нельзя усмотреть

возмездия гонителям осла? Прежде, мог бы он сказать, ты бил меня палкой и на

горах и в долах, и мне приходилось терпеть, но теперь, когда я мертв, эти

глухие удары, почти не слышные на проселочных дорогах, превратились в

призывную музыку перед строем бригады, и за каждый рубец, оставленный тобой

на моих боках, зашатается и упадет твой товарищ.

Вскоре после того, как барабаны проследовали мимо кафе, Папироску и

Аретузу начало сильно клонить ко сну, и они направили свои стопы в

гостиницу, расположенную от кафе через один дом. Однако, хотя мы были

несколько равнодушны к Ландреси, Ландреси не осталось равнодушно к нам. Весь

день, как мы узнали, люди в промежутках между ливнями бегали смотреть на

наши байдарки. Сотни человек - так было нам сказано, хотя такие числа не

вязались с этим городком, - сотни человек посетили угольный сарай, где

они

хранились. В Ландреси мы стали героями дня, хотя накануне в Поне были всего

лишь коробейниками.

И вот теперь, когда мы вышли из кафе, у дверей гостиницы нас нагнал сам

Juge de Paix - насколько я понял, чиновник примерно того же ранга, как

помощник шерифа в Шотландии. Он вручил нам свою визитную карточку и тут же

пригласил отужинать у него - с большим изяществом и любезностью, как это

умеют французы. Ради чести Ландреси, объяснил он нам, и хотя мы знали, что

принимать нас - не такая уж великая честь для городка, ответить грубым

отказом на столь учтивое приглашение было, разумеется, невозможно.

Дом судьи находился неподалеку. Это было комфортабельное обиталище

холостяка, где стены украшала забавная коллекция медных грелок, которыми в

старину обогревали кровати. Некоторые из них были покрыты замысловатым

чеканным узором. Идея такой коллекции показалась нам оригинальной. Глядя на

эти грелки, человек невольно начинал думать о том, сколько ночных колпаков

из поколения в поколение склонялось над ними, какие шутки и поцелуи

они

слышали и как часто ими напрасно согревали ложе смерти. Если бы они могли

говорить, о каких только нелепых, непристойных или трагических сценах не

поведали бы они!

Вино было превосходным. Когда мы похвалили его судье, он сказал: - Я предложил вам не самое худшее, что у меня есть.

Когда только англичане научатся подобной радушной изысканности в

мелочах! А это искусство стоит постигнуть - оно украшает жизнь и придает

блеск обыденности.

За ужином присутствовали еще два ландресийца. Один был сборщиком уж не

помню чего, а другой, как нам сообщили, - главным нотариусом городка. Таким

образом, оказалось, что мы все пятеро в той или иной мере причастны

юриспруденции. При подобной пропорции разговор не мог не стать

профессиональным. Папироска весьма эрудированно повествовал про законы о

бедных. А вскоре я почему-то начал толковать шотландский закон о внебрачных

детях, о котором, должен с гордостью сказать, я не имею ни малейшего

представления. Сборщик и нотариус, оба люди женатые, обвинили холостяка

судью в том, что эту тему подсказал он. Судья отверг обвинение с тем

судью в том, что эту тему подсказал он. Судья отверг обвинение с тем смущенным и самодовольным видом, который я в подобных случаях замечал у всех мужчин, будь то французы или англичане. Странно, как любому из нас в минуты откровенности нравится, что его считают завзятым сердцеедом!

Вино меня пленяло чем дальше, тем больше; коньяк оказался еще лучше, а компания была очень приятной. За все время нашего путешествия волны общественного благоволения ни разу не поднимались так высоко ни до, ни после. В конце концов мы находились в доме судьи, что было как бы полуофициальным признанием наших заслуг. А потому, памятуя, что Франция - великая страна, мы воздали должное оказанному нам гостеприимству. Ландреси давно спало, когда мы вернулись в гостиницу, и часовые на укреплениях уже ожидали рассвета.

КАНАЛ САМБРА - УАЗА

БАРЖИ НА КАНАЛЕ

На другой день мы отправились в путь поздно и под дождем. Судья

любезно

проводил нас под зонтиком до конца шлюза. К этому времени мы прониклись

истинным смирением во всем, что касалось погоды, - смирением, которое

человек обретает лишь изредка, если только он не бродит по шотландским

горам. Клочок голубого неба, проблеск солнечного сияния преисполняли наши

сердца восторгом, а если дождь не лил как из ведра, мы уже считали такой

день почти безоблачным.

Вдоль канала стояли длинные вереницы баржей; почти все они выглядели

очень чистенькими и прифранченными в своих куртках из архангельского дегтя с

белой и зеленой отделкой. Некоторые щеголяли железными перилами, выкрашенными яркой краской, и настоящими партерами из цветов в горшках. На

палубах играли дети, не обращая на дождь ни малейшего внимания, словно они

родились на берегу Лох-Каррона; мужчины с борта удили рыбу, некоторые под

зонтиками; женщины занимались стиркой; и на любой барже была своя дворняжка, исполнявшая роль сторожевого пса. Каждая такая собачонка, яростно лая на

байдарки, бежала рядом по борту до самого носа, откуда сообщала о них своей

товарке на следующей барже. За день плавания мы видели не менее сотни таких

ковчегов, тянущихся друг за другом, как дома на улицах, - и со всех них без

исключения нас приветствовал собачий лай. Мы как будто побывали в зверинце, заметил Папироска,

Эти маленькие городки по берегам канала наводят на неожиданные

размышления. Из-за цветочных горшков и печных труб, из-за стирки и стряпни

они казались неотъемлемой принадлежностью пейзажа; однако стоит шлюзу ниже

по течению открыться, и все эти суденышки поставят парус или запрягут

лошадей и одно за другим поплывут в самые разные уголки Франции -

импровизированная деревня дом за домом разбредется на север, на запад, на

юг, на восток. Дети, игравшие сегодня вместе на канале Самбра - Уаза, не

покидая родительского порога, где и когда встретятся они вновь?

В течение некоторого времени мы говорили только о баржах и рисовали

себе картину нашей старости на каналах Европы. Мы смаковали неторопливое

продвижение к месту назначения, когда мы то уносились бы по быстрой реке, влекомые пыхтящим буксиром, то день за днем простаивали бы у какого-нибудь

никому не известного шлюза, дожидаясь лошадей. С берега и с лодок видели бы, как мы, осененные величием преклонных лет, с седыми бородами по колено, тихонько трудимся на палубе. А мы не выпускали бы из рук ведерка с краской, и ни на одном канале не нашлось бы баржи, чья белая краска была бы белее, а

зеленая - изумруднее нашей. Наши каюты хранили бы книги, банки с табаком и

бутылки со старым бургундским, красным, как ноябрьский закат, и ароматным, как фиалка в апреле. Был бы у нас и флажолет, из которого Папироска

искусными пальцами извлекал бы при свете звезд чарующие мелодии, а может

быть, отложив флажолет в сторону, он запевал бы голосом, чуть менее звучным, чем в былые годы, и слегка дрожащим - или назовем это природным тремоло, -

торжественный и прекрасный псалом.

Подобные тихоструйные мечты зажгли в моей груди желание оказаться на

борту одного из этих идеальных приютов безмятежного досуга. Выбор у меня был

огромен, и я одну за другой оглядывал баржи, мимо которых проплывал под лай

сторожевых псов, принимавших меня за бродягу. Наконец я заметил симпатичного

старика - он и его жена посматривали на меня с явным интересом, а посему я

поздоровался с ними и причалил к их борту. Разговор я начал с их песика, смахивавшего по виду на пойнтера, затем похвалил цветы мадам, после чего

сказал несколько лестных слов об их образе жизни.

Если бы вы попробовали устроить что-либо подобное в Англии, вас

немедленно одернули бы, доказав, что хуже такой жизни не придумаешь, и

уколов вас намеком на ваше собственное благополучие. А вот во Франции каждый прямо и без всяких колебаний признает свою удачливость, и это мне очень нравится. Они там знают, с какой стороны намазан маслом их хлеб, и с радостью показывают это посторонним - что может быть лучше такого символа веры? И они не хнычут над своей бедностью - какое мужество может быть более истинным? Мне довелось услышать, как моя соотечественница, занимающая куда более видное положение и располагающая немалыми деньгами, назвала своего ребенка, отвратительно причитая, “сыном нищего”. Я бы и герцогу Вестминстерскому не сказал ничего подобного. Но во французах живет дух гордой независимости. Может быть, причина заключается в республиканских институтах, как они их называют. Вернее же, дело в том, что настоящих бедняков не так уж много, и любителей хныкать расхолаживает слишком малое число единомышленников.

Хозяева баржи пришли в восторг, услышав, что я восхищаюсь их жизнью. Они сообщили мне, что прекрасно понимают, почему мсье им завидует. Однако мсье, без сомнения, богат, а в таком случае он может сделать свою баржу

настоящей виллой - joli comme un chateau. После чего они пригласили меня посетить их собственную плавучую виллу. Они извинились за убожество каюты: у них нет денег, чтобы перестроить ее как следует.

- Печь нужно бы установить вот тут, в этом углу, - объяснил муж. - Тогда посередине можно было бы поставить письменный стол с книгами и (всеобъемлющий жест) прочим. Каюта приобрела бы просто кокетливый вид - ca serait tout-a-fait coquet.

И он посмотрел по сторонам, словно все здесь уже было перестроено. Конечно, он не впервые созерцал в своем воображении эту прекрасную каюту, и если ему удастся подзаработать малую толику, ее середину, несомненно, украсит письменный стол.

У мадам в клетке жили три птички. Самые обыкновенные, объяснила она. Хорошие певуны стоят больших денег. Они думали купить канарейку, когда были прошлой зимой в Руане (В Руане? - подумал я. - Неужели этот .дом 4. собаками, птичками и печными трубами - действительно такой бывалый путешественник и столь же привычная деталь пейзажа среди скал и фруктовых садов Сены, как и на зеленых равнинах Самбры?), но канарейки стоят пятнадцать франков штука - подумайте только, целых пятнадцать франков!

- Pour un tout petit oiseau - за крохотную пичужку! - добавил муж.

Я продолжал выражать свое восхищение, и эти добрые люди вскоре не только перестали извиняться, но и принялись с такой гордостью хвалить свою жизнь, словно были императором и императрицей Обеих Индий. Слушать их было очень приятно, и я пришел в превосходное расположение духа. Если бы только люди знали, как ободрительно действует хвастовство - при условии, что человеку есть, чем хвастать, - они, я убежден, перестали бы стесняться хвастовства и всяческих преувеличений.

Затем старички стали расспрашивать меня про наше путешествие. Как увлечены они были! Казалось, еще немного - и они, распростившись с баржей, последуют нашему примеру. Однако хотя эти canaletti {Жители каналов (итал.).} и кочевники, но полуодомашненные. Эта одомашненность проявилась в очень симпатичной форме. Внезапно чело мадам омрачилось.

- Cependant {Вот только (франц.).}, - начала она, запнулась, а потом спросила, холост ли я.

- Да.

- А ваш друг, который поплыл дальше?

- Он тоже не женат.

Ну, в таком случае все обстояло прекрасно. Ей не нравится, когда жен бросают дома в одиночестве. Но раз у нас нет жен, то мы не могли бы

придумать ничего лучше.

- Посмотреть мир вокруг себя, - заметил ее муж, - il n’y a que ca {Только это и есть (франц.).}, только ради этого и стоит жить. Вот, например, человек, который сидит в своей деревне, как медведь, - продолжал

он. - Ну, он ничего не видит. А потом приходит смерть, и все кончается. А он

так ничего и не увидел.

Мадам напомнила своему другу об англичанине, который путешествовал по

этому каналу на пароходе.

- Наверное, мистер Моунс на “Итене”, - предположил я.

- Да-да, - ответил муж. - Он взял с собой жену, слуг и детей. Сходил на

берег у всех шлюзов, спрашивал у сторожей и лодочников, как называются

деревни, и все записывал, записывал. О, он писал без конца! Наверное, это

было пари.

Наше собственное путешествие нередко приписывали пари, но считать, что

человек делает заметки на пари, - это оригинально.

УАЗА ПОСЛЕ ДОЖДЕЙ

На следующее утро в девять часов обе байдарки были уже погружены в Этре

на деревенскую повозку, и вскоре мы следовали за ними вдоль склона

прелестной долины, зеленевшей хмельниками и тополями. Там и сям на склоне

виднелись уютные деревушки, и среди них - Тюпиньи, где гирлянды хмеля

свешивались с шестов прямо над улицей, а домики были увиты диким виноградом.

Наше появление вызвало некоторый интерес: ткачи высовывались из окон, ребятишки вопили от восторга при виде двух “игрушечных барок” - barquettes, а прохожие в блузах, сплошь знакомые нашего возницы, отпускали шуточки по

адресу его груза.

Раза два начинался ливень, но тут же переставал, не успев нас даже как

следует вымочить. Воздух среди этих зеленых полей и всей этой зелени был

живительным и чистым. Погода ничем не напоминала осеннюю. А когда в

Ваденкуре мы выгрузили байдарки на небольшой лужайке напротив мельницы и

спустили их на воду, из туч выглянуло солнце, и все листья в долине Уазы

ослепительно засверкали.

Река вздулась от долгих дождей. От Ваденкура до Ориньи она бежала все

быстрее, набирая скорость с каждой милей, и мчалась так, словно уже

чувствовала запах моря. Желтая, мутная вода крутилась бешеными воронками

возле полузатопленных ив и сердито плескалась о каменистые берега. Река

вилась по узкой лесистой долине. Она то ударялась о склон и терлась о

меловое подножие холма, показывая нам среди деревьев небольшие поля рапса, то неслась под самыми садовыми оградами, и мы успевали заглянуть в открытую дверь дома или разглядеть священника, расхаживающего в пятнах солнечного света. Потом листва вдруг смыкалась так, словно впереди был тупик, река бежала под стеной ив, над которыми вздымались вязы и тополя, а над водой, как клочок синего неба, мелькал зимородок. И на все это солнце лило свой ясный и всеобъемлющий свет. На поверхности быстрой реки тени лежали так же плотно, как и на неподвижных лугах. Золотые лучи играли среди танцующих тополиных листьев, и наши взоры причащались холмам. А река все бежала и бежала, ни на миг не останавливаясь, чтобы передохнуть, и каждая камышинка у ее берегов трепетала от корня до вершины.

Наверное, есть миф (хотя я его не знаю), объясняющий этот трепет камышей. Мало что в природе так поражает человеческий глаз. Трудно найти более выразительную пантомиму ужаса, и при виде стольких охваченных паникой существ, которые ищут укрытия во всех укромных уголках у воды, глупое создание - человек - начинает ощущать смутную тревогу. Впрочем, может быть, им просто холодно стоять по пояс в воде. А может быть, они никак не

свыкнутся с бешеной скоростью вздувшегося потока или с неиссякаемым чудом

его вечного движения. На их далеких предках некогда играл Пан, и теперь

руками реки он все еще играет на нынешних камышинках в долине Уазы - играет

ту же мелодию, и нежную и пронзительную, которая рассказывает нам о красоте

и об ужасе мира.

Течение несло байдарку, как опавший лист. Оно подхватывало ее, встряхивало и властно увлекало с собой, точно кентавр, похищающий нимфу.

Чтобы удерживать лодочку в повиновении, приходилось усердно и искусно

работать веслом. Река так торопилась скорее добраться до моря! Каждая капля

мчалась в панике, словно люди в обезумевшей от ужаса толпе. Но какая толпа

бывает столь многочисленна и столь единодушна? Все вокруг уносилось назад в

ритме танца; зрение мчалось вместе с мчащейся рекой; каждый миг был исполнен

такого напряжения, что все наше существо уподоблялось хорошо настроенному

струнному инструменту, а кровь, очнувшись от обычной летаргии, неслась

галопом по широким улицам и узким проулкам вен и артерий и пробегала через

сердце так, словно кровообращение было лишь праздничным развлечением, а не

беспрерывным трудом, длящимся изо дня в день многие десятки лет. Пусть камыш предостерегающе гнулся и выразительно дрожал, показывая, что река не только сильна и холодна, но и жестока и что в водоворотах кроется смерть. Но ведь камыш прикован к своему месту, а те, кто вынужден сохранять неподвижность, всегда робки и не уверены ни в чем. Ну, а нам хотелось ликующе кричать. Если эта полная жизни красавица река и вправду была орудием смерти, то коварная старуха просчиталась, думая, что заманила нас в ловушку. Я каждую минуту жил за троих. Я выигрывал десять очков у костлявой с каждым ударом весла, с каждым речным поворотом. Мне редко удавалось получать с жизни подобные дивиденды.

Да, мне кажется, именно с этой точки зрения следует нам рассматривать ту тайную войну, которую каждый из нас ведет со смертью. Если человек знает, что в пути его неминуемо должны ограбить, он будет требовать лучшего вина в каждой гостинице и чувствовать, что, проматывая деньги, он надувает разбойников. А главное, он не просто тратит деньги, но выгодно и надежно их помещает. Вот почему каждый сполна прожитый час, а особенно отданный здоровым занятиям, мы отнимаем у оптовой грабительницы-смерти. Когда она

остановит нас, чтобы забрать все наше добро, у нас будет меньше в карманах и больше в желудке. Быстрая река - любимая западня старухи и приносит ей немалый годовой доход, но когда мы сойдемся с ней, чтобы свести наши счеты, я засмеюсь ей в глаза и напомню эти часы, проведенные на верхней Уазе.

К вечеру мы совсем опьянели от солнца и быстрого движения. Мы были больше не в силах сдерживаться и подавлять свой восторг. Байдарки были нам тесны, нам требовался берег, чтобы хорошенько поразмяться. И вот мы растянулись на зеленом лужке, закурили табак, превращающий людей в богов, и объявили, что мир прекрасен. Был последний упоительный час этого дня, и я задерживаюсь на нем, чтобы продлить удовольствие.

Высоко на склоне долины по отрогу холма ходил за плугом пахарь, то скрываясь из виду, то снова появляясь. И при каждом своем появлении он в течение нескольких секунд четко рисовался на фоне неба - точь-в-точь (по заявлению Папироски) как игрушечный Берне, который только что запахал горную маргаритку. Кроме него, вокруг не было видно ни одной живой души, если, конечно, не считать реки.

На противоположном склоне среди листвы виднелись красные кровли и колокольня. Вдохновенный звонарь вызванивал там призыв к вечерне. В

этой

мелодии было что-то пленительное: мы никогда еще не слышали, чтобы колокола

разговаривали так выразительно и пели так гармонично. Наверное, ткачи и юные

девушки шекспировской Иллирии пели “Поспеши ко мне, смерть” в лад именно та-

кому звону. В голосе колоколов слишком часто звучит тревожная нота, грозная

и металлическая, и, слушая их, мы испытываем боль, а не радость; но эти

колокола, звонившие вдали то громко, то тихо, то с грустным кадансом, который врезался в память, как рефрен модной песенки, оставались неизменно

мелодичными; они были столь же неотъемлемы от общего духа этого тихого

сельского ландшафта, как журчание ручьев и крик грачей неотъемлемы от весны.

Я готов был просить благословения у этого звонаря, кроткого старца, так

мягко раскачивающего веревку в такт своим размышлениям. Я готов был

благословлять священника, церковный совет или еще кого-нибудь, кто заведует

во Франции подобными делами, за то, что они позволяют этим милым старинным

колоколам проливать безмятежную радость, а не созывают собрания, не

устраивают сбора пожертвований, не печатают в местной газетке постоянных

призывов, чтобы обзавестись набором с иголочки новых, наглых бирмингемских

подделок, которые начнут трезвонить во всю мочь под ударами с иголочки

нового звонаря, буйным набатом пугая эхо в долине и наводя на нее ужас.

Наконец колокола смолкли, и с последним отголоском закатилось солнце.

Представление окончилось; долиной Уазы завладели безмолвие и сумрак. Мы

взяли весла, полные светлой радости, как люди, посмотревшие чудесный

спектакль и возвращающиеся теперь к повседневному труду. Река в этом месте

была особенно опасна; она бежала необыкновенно быстро и внезапно порождала

коварные водовороты. Одна трудность тут же сменялась другой. Иногда нам

удавалось проскочить над затопленной плотиной, но чаще вода переливалась по

самым кольям, и мы должны были выходить на берет и тащить лодки на себе.

Однако больше всего нам мешали последствия недавних бурь. Через каждые

двести-триста ярдов реку перегораживало упавшее дерево, и обычно не одно.

Порой оно не доставало до противоположного берега, и мы огибали лиственный

мыс, слушая, как журчит и пенится вода среди ветвей. Порой же доставало, но

берег был так высок, что, пригнувшись, мы благополучно проскакивали под стволом. Иногда нам приходилось влезать на ствол и перетаскивать байдарку через него, а иногда - если течение было особенно сильным - у нас оставался только один выход: причалить к берегу и нести байдарку на себе. Все это придавало плаванию значительное разнообразие и не позволяло нам забыться в мечтах.

Вскоре после того, как мы снова пустились в путь и я намного обогнал Папироску, все еще пьяный от солнца, скорости и колокольного звона, река по обыкновению сделала львиный прыжок у излучины, и я увидел почти прямо перед собой очередное упавшее дерево. Я мгновенно повернул руль и прицелился пронестись под стволом в том месте, где он выгибался над водой, а ветви образовывали просвет. Когда человек только что поклялся природе в вечной братской любви, он склонен принимать великие решения без должного обдумывания, и это решение, для меня достаточно великое, не было принято под счастливой звездой. Ствол уперся мне в грудь, и пока я пытался съежиться и все-таки проскользнуть под ним, река взяла дело в свои руки и унесла из-

под

меня лодку. “Аретуза” повернулась поперек течения, накренилась, извергла то, что еще оставалось от меня на ее борту, и, освободившись от груза, нырнула

под ствол, выпрямилась и весело помчалась дальше.

Не знаю, скоро ли мне удалось выбраться на дерево, за которое я

цеплялся, но, во всяком случае, эта операция длилась дольше, чем мне

хотелось бы. Мысли мои приняли мрачный, почти траурный оборот, но я все-таки

крепко держал весло. Едва мне удавалось извлечь на поверхность плечи, как

река уносила мои пятки, и, судя по весу моих брюк, в их карманах скопилась

вся вода Уазы. Пока не испробуешь этого на практике, невозможно даже

представить себе, с какой силой река увлекает человека в глубину. Сама

смерть схватила меня за ноги, так как это была ее последняя засада и она

лично вмешалась в борьбу. Но все-таки я не выпустил весла. В конце концов я

ползком вскарабкался на ствол и приник к нему размокшим бездыханным комком, не зная, смеяться ли мне или плакать от такой несправедливости. Какую жалкую

фигуру являл я, наверное, в глазах Бернса, все еще пахавшего в высоте! Но в

руке у меня было весло. И на моей гробнице, если я ею когда-нибудь

обзаведусь, будет высечено: “Он крепко держал свое весло”.

Папироска уже промчался мимо, ибо - как мог бы заметить и я, не пылай я тогда такой любовью ко всей природе, - вершина дерева далеко не доставала до противоположного берега. Он предложил мне помощь, которую я отклонил, так как уже утвердил на стволе локти, и послал его в погоню за беглянкой “Аретузой”. Течение было слишком быстрым, чтобы можно было выгрести против него даже в одной байдарке, не говоря уж о том, чтобы вести за собой на буксире вторую. Поэтому я перебрался по стволу на берег и отправился дальше пешком. Я так продрог, что сердце мое преисполнилось злобы. Теперь мне стало понятно, почему отчаянно дрожат камыши. Впрочем, я мог бы преподать урок дрожания любой камышинке. Когда я приблизился к Папироске, он шутливо сообщил мне, что решил, будто я “занимаюсь гимнастикой”, и только потом сообразил, что меня бьет озноб. Я хорошенько растерся полотенцем и переоделся в сухой костюм, извлеченный из прорезиненного мешка. Но до конца плавания я так и не пришел в себя. Меня не оставляло мерзкое ощущение, что сухая одежда на мне - моя последняя. Борьба с рекой меня утомила, и, может

быть, я, сам того не зная, несколько пал духом. Здесь, в этой зеленой долине, где властвовала быстрая река, природа внезапно обратила против меня свою хищную сторону. Колокола колоколами, но я услышал и зловещую мелодию Пана. Неужели злая река все-таки утащит меня за ноги на дно? И не утратит при этом свою красоту? Благодушие природы в конечном счете оказывалось лишь маской. Нам предстояло еще долго плыть по извилистой реке, и, когда мы добрались до Ориньи-Сент-Бенуат, сумерки совсем сгустились, а колокола звонили к поздней вечерне.

ОРИНЬИ-СЕНТ-БЕНУАТ

ДНЕВКА

На следующий день было воскресенье, и церковные колокола звонили почти без передышки. Собственно говоря, насколько я помню, мне нигде больше не приходилось замечать, чтобы верующим предлагался столь богатый выбор всевозможных служб. А пока колокола заливались в ярком солнечном свете, весь

городок в сопровождении собак отправился на охоту среди рапса и свеклы.

Утром мимо гостиницы проходил разносчик со своей женой, и под тихую жалобную музыку они пели “O France, mes amours” {“Франция, любовь моя” (франц.).}. Люди начали выглядывать из окон и дверей, и, когда наша хозяйка подозвала торговца, собираясь купить листок со словами, оказалось, что он уже все их распродал. Она была далеко не первой, кого очаровала эта песня. Есть что-то чрезвычайно жалобное в той любви, которую французы со времен войны питают к тоскливым патриотическим песням. Как-то на крестинах в деревушке под Фонтенбло я наблюдал за лесником из Эльзаса, когда кто-то запел “Les malheurs de la France” {“Несчастья Франции” (франц.).}. Он встал из-за стола и отвел в сторону своего сынишку. Остановившись возле меня, он сказал, положив руку на плечо мальчика:

- Слушай, слушай и запоминай, сын мой.

А потом он вдруг вышел в сад, и я слышал в темноте его рыдания.

Позорное поражение их армии и утрата Эльзаса и Лотарингии подвергли тяжкому испытанию терпение этого пылкого народа, и сердца французов все еще горят ненавистью - не столько против Германии, сколько против Второй

империи. В какой еще стране патриотическая песенка соберет на улице целую толпу? Но несчастье усиливает любовь, и мы почувствуем себя англичанами не прежде, чем утратим Индию. Независимая Америка до сих пор остается моим тяжким крестом, и Фермер Джордж вызывает во мне сердечное отвращение; свою родину я люблю сильней всего, когда вижу звездно-полосатый флаг и вспоминаю, какой могла бы быть наша империя!

Песенник, который я приобрел у этого торговца, представлял собой весьма пеструю смесь. Игривые непристойности парижских кабаре соседствовали в нем с народными песенками, на мой взгляд, очень поэтичными и достойными веселого мужества беднейших сословий Франции. В этих песенках дровосек прославляет свой топор, а садовник гордится своей лопатой вместо того, чтобы стыдиться ее. Эти трудовые стихи были не слишком хороши, но их неунывающий дух искупал слабости формы и выражения. С другой стороны, военные и патриотические песни все до одной были слезливым дамским рукоделием. Поэт испил до дна горькую чашу унижений, он призывал армию посетить с опушенным оружием гробницу ее

былой славы и воспевал не победу, а смерть. В сборнике была песенка под названием “Французы-новобранцы”, которую следовало бы поставить во главе списка наиболее расхолаживающих военных гимнов. В подобном настроении вообще невозможно идти в бой. Самый смелый новобранец побледнел бы, раздайся подобная песня рядом с ним в утро сражения, и под ее мотив сдался бы без сопротивления целый полк.

Если Флетчер из Солтауна прав в том, что он говорит о влиянии национальных песен, значит, дела Франции плохи. Однако исцеление заключено в самом бедствии, и храброму, бодрому народу надоедает хныкать над своими горестями. Поль Дерулед написал уже немало мужественных военных стихов. Пожалуй, в них не гремят фанфары, способные зажечь сердце в человеческой груди, им не хватает лирического порыва и они медлительны. Но они исполнены торжественного, благородного стоицизма, который может послужить надежной опорой солдатам, борющимся за правое дело. И чувствуешь, что Деруледу можно верить. Как будет прекрасно, если ему удастся привить частицу этого духа

своим соотечественникам, чтобы можно было поверить в их будущее! А пока его

стихи - хорошее противоядие против “Французов-новобранцев” и прочих

заунывных стишков.

Байдарки мы накануне оставили на хранение человеку, которого будем

называть здесь Карнивалем. Я не разобрал его фамилии - и пожалуй, к лучшему

для него, так как не могу поведать о нем потомству ничего хорошего. И вот

днем мы направились к обиталищу вышеупомянутого субъекта, где обнаружили

целую депутацию, внимательно изучающую наши лодки. Один из визитеров, толстяк, неплохо знавший реку, немедленно захотел поделиться с нами своими

сведениями. Весьма элегантный молодой господин в черном сюртуке, кое-как

владевший английским языком, тут же завел разговор об оксфордских к

кембриджских лодочных гонках. Кроме них, имелись еще три красивые девицы в

возрасте от пятнадцати до двадцати лет и почтенный старец в блузе, почти

беззубый и изъяснявшийся с сильным местным акцентом.

Папироске предстояло совершить какой-то таинственный ритуал над своим

такелажем в каретном сарае, и, таким образом, мне пришлось проводить весь

парад в одиночку. Волей-неволей я оказался в положении героя. Девицы ахали и

вздрагивали при мысли об опасностях, подстерегавших нас на нашем пути. И

галантность не позволила мне разочаровать дам. Небрежный рассказ о моем

вчерашнем злоключении произвел чрезвычайный эффект.

Вновь повторилась история Отелло, но уже с тремя Дездемонами и кучкой

доброжелательных сенаторов на заднем плане. Никогда байдаркам так не льстили

- и не льстили так искусно.

- Она похожа на скрипку! - в экстазе воскликнула одна из девиц.

- Благодарю вас за сравнение, мадмуазель, - ответил я. - И тем более

горячо, что с берега мне нередко кричат, будто она похожа на гроб.

- О! Но она, правда, похожа на скрипку! Она совершенна, как скрипка.

- И отлакирована, как скрипка, - добавил кто-то из сенаторов.

- Остается только натянуть струны, - заключил другой сенатор, - и тогда

- “там-тати-там!” - Он увлеченно изобразил результат подобной операции.

Не правда ли, до чего милые и изящные комплименты? Не могу понять, каким секретом похвалы владеют эти люди: или их секрет - лишь искреннее

желание сделать приятное? С другой стороны, гладкость речи не считается во

Франции грехом, тогда как в Англии человек, выражающийся, как книга, тем

самым вручает обществу прошение об отставке.

Старичок в блузе прокрался в каретный сарай и не совсем к месту сообщил

Папироске, что он отец этих трех девушек и еще четырех: немалое достижение

для француза!

- Поздравляю вас, - вежливо ответил Папироска.

И старичок, видимо, добившись своего, столь же тихо удалился.

Мы все очень подружились. Девицы даже предложили поехать с нами дальше!

Но шутки шутками, а и они и сенаторы очень хотели узнать час нашего отъезда.

Однако в тех случаях, когда вам предстоит забраться в байдарку с неудобной

пристани, зрители, даже самые благожелательные, оказываются лишними, и мы

сказали, что тронемся в путь не раньше двенадцати, а мысленно решили отбыть

еще до десяти.

К вечеру мы снова вышли на улицу, чтобы отправить несколько писем. В

воздухе веяла приятная прохлада. Длинное селение казалось совсем безлюдным, и только кучка мальчишек следовала за нами, словно за бродячим зверинцем; вершины холмов и деревьев теснились в ясном небе, а колокола призывали к еще

одной службе.

Внезапно мы заметили, что перед лавкой на широкой обочине стоят три

девушки, с которыми мы познакомились днем, и еще одна. Конечно, совсем

недавно мы весело с ними болтали. Но каковы правила хорошего тона в Ориньи?

Будь это проселочная дорога, мы, разумеется, заговорили бы с ними, но здесь, на глазах у всех местных кумушек, позволительно ли хотя бы поклониться им? Я

посоветовался с Папироской.

- Погляди-ка, - ответил он.

Я поглядел. Девушки продолжали стоять там же, где стояли, но теперь к

нам были обращены четыре спины, прямые и добродетельные. Капрал Скромность

отдал команду, и дисциплинированный взвод сделал поворот кругом, как единый

человек. Они сохраняли эту позицию все время, пока мы могли их видеть, однако мы слышали, как они перехихикиваются, а девица, с которой мы не были

знакомы, даже засмеялась вслух и поглядела через плечо на врага. Да и

действительно ли это была скромность, а не деревенское кокетство?

Когда мы возвращались к гостинице, мы заметили что-то непонятное в

обширном золотом поле вечерних небес над меловыми утесами и деревьями на их

вершинах. Непонятный предмет парил слишком высоко и был слишком велик и

устойчив для змея. Он не блестел и, значит, не мог оказаться звездой. Ведь

будь звезда черной, как чернила, и плотной, как грецкий орех, в мощном

солнечном сиянии она все равно замерцала бы. Улицы были усыпаны людьми, стоявшими с задранными вверх головами, ватаги ребятишек со всех ног мчались

по прямой дороге, которая вела на вершину холма, где уже собрались их более

шустрые сверстники. Мы узнали, что видим воздушный шар, вылетевший в

половине пятого из Сен-Кантена. Большинство взрослых орвньянцев отнеслось к

этому событию с глубочайшим хладнокровием. Но мы были англичанами и вскоре

уже взбирались на холм наперегонки с лучшими бегунами. Мы ведь тоже были

по-своему путешественниками, и нам очень хотелось посмотреть, как эти

путешественники будут высаживаться на землю.

Когда мы поднялись на вершину, все уже кончилось. Золото в небе

погасло, а шар исчез. Куда? - задаю я себе вопрос. Унесся ли он на седьмое

небо? Или благополучно опустился где-то там, за голубым неровным горизонтом, куда, ныряя то вверх, то вниз, уходила дорога? Возможно, аэронавты уже

грелись у очага какого-нибудь фермера - говорят, в негостеприимных небесных

высях царит ледяной холод. Быстро стемнело. Придорожные деревья и

разочарованные зрители, возвращающиеся домой через луга, рисовались черными

силуэтами на фоне красной полоски догорающего заката. Мы отвернулись от этой

неуютной картины и начали спускаться с холма навстречу дынного цвета луне, висевшей высоко над лесистой долиной, а на белых утесах позади нас чуть

розовели отблески печей, в которых пережигали известь.

А в Ориньи-Сент-Бенуат над рекой зажигались лампы и приготовлялись

салаты.

ОРИНЬИ-СЕНТ-БЕНУАТ

ОБЩЕСТВО ЗА ТАБЛЬДОТОМ

Хотя мы опоздали к обеду, общество за столом встретило нас искристым

вином.

- Так уж заведено у нас во Франции, - объявил кто-то. - Те, кто ест с

нами, наши друзья.

И все остальные зааплодировали.

Наших сотрапезников было трое, и трудно было бы подыскать для

воскресного вечера более странное трио.

Двое из них, приезжие, как и мы, были с севера страны. Один -

краснощекий великан с густой черной шевелюрой и бородой - принадлежал к тому

типу неукротимых французских охотников, которые, чтобы доказать свою

доблесть, не брезгуют никакой добычей - ни полевым жаворонком, ни пескариком. Однако, когда такой широкоплечий здоровяк, чья грива могла бы соперничать с гривой Самсона, по чьим артериям ведрами бежит алая кровь, похваляется столь бесконечно малыми подвигами, создается впечатление разительного несоответствия, словно паровой молот щелкает орешки. Второй - анемичный, грустный блондин, тихий и робкий - чем-то походил на датчанина - “tristes tetes de Danois” {Эти печальные датские лица (франц.).}, как говаривал Гастон Лафенетр.

Упомянув это имя, я не могу не прибавить несколько слов о прекраснейшем человеке, ныне покойном. Мы никогда уже не увидим Гастона в его костюме лесника - все звали его Гастоном, но не из фамильярности, а потому что любили, - и не услышим, как он будит эхо Фонтенбло, трубя в свой охотничий рог. Никогда больше его добрая улыбка не усмирит страсти художников всех рас и народов, и при виде нее англичанин уже не почувствует себя во Франции, как дома. Никогда уже овцы, не более чистые сердцем, чем он сам, не будут бессознательно позировать его трудолюбивому карандашу. Он умер слишком рано

и как раз тогда, когда бутоны скрытого в нем таланта начали распускаться, обещая что-то достойное его; однако никто из тех, кто знал Гастона, не скажет, что он жил напрасно. Я знал его совсем мало, но я нежно любил его, и то, насколько другие понимали его и ценили, может, на мой взгляд, служить хорошим мерилом для них самих. Его влияние, пока он еще жил среди нас, было поистине благотворным; он смеялся искренне и заразительно, и при взгляде на него сразу становилось легче на душе; какая бы печаль ни томила его, он всегда держался бодро и весело, встречая превратности судьбы так, словно это был весенний дождь. Но теперь его мать сидит в одиночестве на опушке леса Фонтенбло, где он собирал грибы в дни своей бедной и суровой юности.

Многие его картины оказались по ту сторону Ла-Манша, не считая тех, которые были украдены у него, когда подлец янки бросил его в Лондоне с двумя английскими пенсами в кармане и лишь со вдвое большим запасом английских слов. Если у кого-нибудь из тех, кто прочтет эти строки, на стене висит пейзаж с овцами в манере Жака, подписанный этим прекраснейшим человеком, помните, что ваше жилище помог украсить самый добрый и самый мужественный из людей. В Национальной галерее найдутся картины получше, но такого доброго

сердца не было ни у одного художника среди многих поколений. Дорога в глазах господних смерть святых его, учат нас псалмы. И она не может не быть дорогой, ибо это колоссальный расход - тот удар, который оставляет неутешной мать и превращает в прах, единый с Цезарем и двенадцатью апостолами, миротворца и миролюбца целой общины. Ныне дубам Фонтенбло чего-то не хватает, а когда в Барбизоне подают десерт, все оглядываются на дверь в ожидании того, кого больше нет.

Третьим нашим сотрапезником в Ориньи был не более и не менее, как сам супруг хозяйки гостиницы, - хозяином гостиницы я его по справедливости назвать не могу, так как днем он работал на фабрике, а домой возвращался только ввечеру, словно постоялец. Это был человек худой, как щепка, от постоянного возбуждения, лысоватый, остролицый, с быстрыми блестящими глазами. В субботу, описывая пустяковое приключение во время охоты на уток, он вдребезги разбил тарелку. После каждого своего высказывания он, задрав подбородок, оглядывал стол глазами, в которых вспыхивали зеленые огоньки, и требовательно ждал одобрения. Его супруга то и дело возникала в дверях комнаты и восклицала: “Анри, ты совсем забылся!” или: “Анри, можно ведь говорить не так громко!”. Но именно этого бедняга никак не мог. Из-за

всякой чепухи глаза его вспыхивали, кулак опускался на стол, а голос превращался в громовый раскат. Я впервые видел столь взрывчатого человека; по-моему, в нем сидел дьявол. У него было два излюбленных выражения: “это логично” (или “нелогично”, в зависимости от обстоятельств) - и еще одно, провозглашаемое в начале многих длинных и звучных историй с некоторой бравадой, словно он развертывал знамя: “Я, видите ли, пролетарий”. Да, мы это прекрасно видели. Не дай бог, чтобы он оказался на парижских, улицах с ружьем в руках! Это будет малоприятная минута для чистой публики.

Я подумал, что две его любимые фразы во многом воплощают то хорошее и то дурное, что присуще его классу, а до некоторой степени - и его стране. Требуется сила для того, чтобы, не стыдясь, сказать, кто ты такой, хотя частые повторения этого в течение одного вечера и отдают дурным тоном. В герцоге мне такая черта, разумеется, не понравилась бы, но в нынешние времена в рабочем она почтенна. С другой стороны, вовсе не требуется силы для того, чтобы полагаться на логику, да еще на свою собственную, - чаще

всего она бывает неверна. Стоит начать следовать собственным словам или

советам докторов, и одному богу известно, чем это кончится. В собственном

сердце человека есть честность, более надежная, чем любой силлогизм; глазам, склонностям и желаниям также известно кое-что, о чем никогда еще не спорили

на диспутах. Доводы обильны, как черника, и как кулачные удары, они

равнодушно служат любой стороне. Доктрины властвуют или низвергаются не с

помощью обоснования их правоты, и логика их зависит только от искусства, с

каким их формулируют. Способный участник диспута доказывает правоту своего

дела не с большей убедительностью, чем способный генерал - правоту своего.

Однако вся Франция устремилась вслед за двумя-тремя звонкими словами, и

потребуется время, прежде чем французы убедятся, что это всего только слова, хотя и очень звонкие; когда же это произойдет, логика, пожалуй, перестанет

казаться им столь уж привлекательной.

Разговор начался с обсуждения сегодняшней охоты. Когда все охотники

городка охотятся в его окрестностях pro indivise {Без разделения (лат.).}, неизбежно возникает много недоразумений, касающихся вопросов этикета и права

первенства.

- Так вот! - восклицал хозяин, взмахивая тарелкой. - Вот свекольное

поле. Прекрасно. Вот тут стою я. Я иду вперед, верно? Eh bien! Sapristi! {Ну вот! Черт побери! (франц.).}

И рассказ, становясь все громогласнее, завершается раскатом ругательств, хозяин обводит глазами стол, ожидая сочувствия, и все кивают во имя мира и тишины.

Краснощекий северянин, в свою очередь, поведал несколько историй о собственных доблестных деяниях: в частности, как он поставил на место некоего маркиза.

- “Маркиз, - сказал я, - еще один шаг, и я стреляю. Вы совершили гнусность, маркиз!”

После чего маркиз, как выяснилось, поднес руку к шляпе и удалился.

Хозяин выразил шумное одобрение.

- Прекрасный поступок, - сказал он. - Он сделал все, что было в его силах. Он признал себя неправым.

И снова посыпались ругательства. Он не слишком-то любил маркизов, но он был справедлив, этот наш хозяин-пролетарий.

От охоты разговор перешел к сравнению парижской жизни с провинциальной. Пролетарий барабанил кулаком по столу, восхваляя Париж.

- Что такое Париж? Париж - это сливки Франции. Парижан не

существует. И

я, и вы, и он - мы все парижане. Если человек уезжает в Париж, - восемьдесят

шансов из ста, что он преуспеет.

И он набросал яркую картину того, как ремесленник в каморке не больше

собачьей конуры делает вещицы, которые расходятся по всему миру.

- Eh bien, quoi, c’est magnifique, ca! {Но ведь это же великолепно!

(франц.).} - вскричал он.

Грустный северянин попробовал было похвалить крестьянскую жизнь; он

высказал мнение, что Париж вреден и для мужчин и для женщин.

- Централизация… - начал он.

Но хозяин тут же вцепился ему в горло. Все это логично, доказал он ему, логично и великолепно.

- Какое зрелище! Какое пиршество для глаз! - И тарелки запрыгали по

столу в такт канонаде ударов.

Желая пролить масло на бушующие воды, я похвалил Францию за свободу

мнений. Это был вопиющий промах. Внезапно наступила полная тишина, и все

многозначительно закивали. Сразу стало ясно, что эта тема им не по вкусу, но

все же они дали мне понять, что печальный северянин - настоящий мученик, потому что осмеливается отстаивать свои взгляды.

- Спросите у него, - советовали они. - Пусть он вам расскажет.

- Да, сударь, - сказал он мне со своей обычной робостью, хотя я его ни о чем не спросил. - Боюсь, что во Франции нет такой свободы мнений, как вам кажется. - Тут он опустил глаза и, видимо, счел вопрос исчерпанным.

Но это только раздразнило наше любопытство. Как, почему и когда этот анемичный коммивояжер стал мучеником? Мы немедленно решили, что причина тут в религии, и стали вспоминать все, что нам было известно об инквизиции, - основным источником наших сведений были, конечно, ужасный рассказ Эдгара По и проповедь в “Тристраме Шенди”.

На следующий день нам представился случай удовлетворить нашу любознательность. Мы встали рано утром, чтобы избежать торжественных проводов, но наш герои опередил нас и уже завтракал белым вином и сырым луком - вероятно, для того, чтобы поддержать свою репутацию мученика, решил я. Мы долго с ним разговаривали и, несмотря на его сдержанность, узнали все, что нас интересовало. Но прежде об одном поистине любопытном обстоятельстве: оказалось, что два шотландца и француз могут, беседуя добрых полчаса, говорить о совсем разных вещах и не замечать этого. Только в самом конце мы сообразили, что его ересь носит политический характер, а он понял нашу ошибку. Его воодушевление и слова, которые он употреблял, говоря о своих

политических убеждениях, на наш взгляд, вполне могли относиться к религиозным верованиям. И наоборот.

Это очень типично для обеих стран. Политика во Франции - это религия, “чертовски скверная религия”, как сказал бы Нанти Юорт; а в наших краях мы приберегаем всю нашу горечь для мелких разногласий по поводу псалтыря или древнееврейского слова, которое ни один из спорящих скорее всего не сумеет перевести правильно. Подобные недоразумения, наверное, случаются очень часто, но так и остаются невыясненными - не только между людьми разной национальности, но и между людьми, принадлежащими к разному полу.

Что же касается мученичества нашего приятеля, то он был коммунистом, а может быть, только коммунаром, что совсем не одно и то же, и много раз терял из-за этого работу. По-моему, он, кроме того, получил отказ от той, на ком хотел жениться, но, может быть, это только иллюзия, которая возникла благодаря его сентиментальной манере выражаться. Но, во всяком случае, это был кроткий и добрый человек, и я надеюсь, что ему с тех пор удалось устроиться на хорошее место и найти себе любящую жену.

ВНИЗ ПО УАЗЕ

В МУА

Карниваль начал с того, что бессовестно нас надул. Заметив, что мы люди покладистые, он спохватился, что взял с нас слишком мало, и, отведя меня в сторонку, поведал мне какую-то нелепую басню с моралью: еще пять франков ее автору. Нелепость этих претензий была очевидна, но я заплатил и тут же, забыв прежний дружеский тон, поставил его на место как зазнавшегося выскочку и продолжал держать его там со всем леденящим британским достоинством. Он вскоре сообразил, что зашел слишком далеко и убил курицу, несущую золотые яйца. Его лицо вытянулось, и, наверное, он возвратил бы мне эти пять франков, если бы сумел найти благовидный предлог. Он пригласил меня выпить с ним, но я холодно отказался. Он стал трогательно жалобным в своих заверениях, но я шел рядом с ним молча или отвечал коротко, с изысканной учтивостью, а когда мы спустились к пристани, с помощью английского идиома информировал Папироску о положении дел.

Несмотря на ложные слухи, которые мы усердно распускали накануне, у

моста собралось не менее пятидесяти человек. Мы были чрезвычайно любезны со

всеми, кроме Карниваля. Мы пожелали всего хорошего и пожали руку пожилому

господину, который прекрасно знал реку, а также молодому господину, который

изъяснялся по-английски, но не сказали ни слова Карнивалю. Бедняга

Карниваль, какое унижение! Он купался в славе байдарок, он отдавал

распоряжения от нашего имени, он демонстрировал друзьям и лодки и их

владельцев, почти как свою собственность, а теперь ему нанесли публичный

афронт главные львы его зверинца! Мне еще не доводилось видеть, чтобы

человек был так уничтожен. Он держался в сторонке и изредка робко

приближался к нам, когда ему казалось, будто мы смягчаемся, - лишь для того, чтобы снова уйти в тень, встретив ледяной взгляд. Будем надеяться, что это

послужило ему хорошим уроком.

Я не стал бы упоминать про выходку Карниваля, не будь она столь

необычной для Франции. Это был единственный пример нечестности, а вернее, вымогательства, с которым мы столкнулись за все наше путешествие. Мы в

Англии очень много говорим о своей честности. Лучше всего быть начеку, сталкиваясь с неумеренными восторгами по поводу заурядной порядочности. Если

бы только англичане слышали, как о них отзываются за границей, они, быть

может, попробовали бы исправиться и с тех пор чванились бы меньше.

Юные девицы, грации Ориньи, не присутствовали при нашем отъезде, но, когда мы приблизились ко второму мосту, оказалось, что он забит любопытными.

Нас встретили приветственными криками, и еще долго юноши и девушки бежали по

берегу, продолжая вопить. Течение было быстрым, мы старательно гребли и

мчались вперед, как ласточки. Держаться вровень с нами, пробираясь по берегу

между деревьев и кустов, было нелегким делом. Но девушки подобрали юбки, словно не сомневаясь в изяществе своих лодыжек, и отстали, только когда

совсем запыхались. Дольше всех упорствовали наши три грации и две их

подруги, а когда и они выбились из сил, та, что была впереди, вскочила на

пенек и послала нам воздушный поцелуй. Сама Диана (впрочем, это скорее была

Венера) не могла бы с большим изяществом послать столь изящный привет.

- Возвращайтесь к нам! - крикнула она, а за ней все остальные, и холмы

вокруг Ориньи повторили: “Возвращайтесь!” Но через мгновение река увлекла

нас за поворот, и мы остались наедине с зелеными деревьями и быстрой водой.

Вернуться к вам? Стремительное течение жизни, милые барышни, не знает

возвращений.

Купец послушен звездам моряков.

Повелевает солнце земледельцем.

И все мы должны ставить свои часы по курантам судьбы. Необоримый поток властно увлекает человека со всеми его фантазиями, точно соломинку, торопясь вперед в пространстве и времени. Он так же извилист, как ваша капризная, прихотливая Уаза, и медлит, и повторяет милые пасторальные сцены, но, если вдуматься, никогда не обращается вспять. Пусть он через час посетит тот же самый луг, но тем временем он проделает немалый путь, примет воды многих ручейков, с его поверхности к солнцу поднимутся испарения, и пусть даже луг будет тем же самым, река Уаза уже успеет стать другой. Вот почему, о грации Ориньи, даже если моя бродячая судьба вновь возвратит меня туда, где вы на речном берегу ожидаете свистка смерти, по улице городка пройду уже не прежний я, а эти почтенные матроны, скажите, неужели это будете вы?

Впрочем, в поведении Уазы и не было ничего загадочного. В своих верховьях она чрезвычайно торопилась поскорее добраться до моря. Она мчалась

по извилистому руслу так стремительно и весело, что я вывихнул большой

палец, борясь с быстринами, и дальше вынужден был грести одной рукой, а

другую держал неподвижно. Иногда Уаза трудолюбиво обслуживала мельницы, а

так как речка она все-таки небольшая, то при этом сразу мелела. Нам

приходилось спускать ноги за борт и отталкиваться от песчаного дна. А Уаза, напевая, бежала себе вперед между тополей и творила свою зеленую долину. В

мире нет ничего лучше прекрасной женщины, прекрасной книги и табака, а на

четвертом месте после них я поставлю реку. Я простил Уазе покушение на мою

жизнь, тем более, что на треть виноваты в нем были ветры небесные, повалившие дерево, на треть - я сам и только на треть - река, которая к тому

же поступила так вовсе не по злобе, а потому, что была всецело поглощена

своим делом и думала только о том, как бы скорее достичь моря. А это вовсе

не так просто, ибо ей приходится сворачивать с прямого пути неисчислимое

количество раз. Географы, по-видимому, так и не смогли сосчитать ее излучин

- во всяком случае, ни на одной карте я не обнаружил всех ее бесконечных

извивов. Один пример скажет об этом больше, чем все карты, взятые вместе.

После того, как мы часа три мчались этим ровным головокружительным

галопом

мимо деревьев на берегах, мы достигли какой-то деревушки и, спросив, где мы

находимся, узнали, что удалились от Ориньи всего на четыре километра

(примерно на две с половиной мили). Не будь это вопросом чести, как говорят

шотландцы, мы почти с тем же успехом могли бы и вовсе не трогаться с места.

Мы перекусили на лугу внутри параллелограмма из тополей. Всюду вокруг

нас плясали и шептались на ветру листья. А река все бежала вперед и словно

упрекала нас за промедление. Но мы не обращали внимания на ее воркотню. В

отличие от нас река-то знала, куда она торопится, а мы были довольны и тем, что нашли уютный зрительный зал, где можно было выкурить трубочку. В этот

час на парижской бирже маклеры надрывали глотки, чтобы заработать два или

три процента, но нас это трогало столь же мало, как и неуемный бег потока, возле которого мы приносили гекатомбы минут в жертву богам табака и

пищеварения. Торопливость - порождение недоверчивости. Когда человек

доверяет своему сердцу и сердцам своих друзей, он может спокойно откладывать

на завтра то, что следовало сделать сегодня. Ну, а если он тем временем

умрет, значит, - он умрет, и вопрос будет исчерпан.

Вечером нам пришлось свернуть в канал, так как в месте его пересечения с рекой был не мост, а сифон. Если бы не взволнованный прохожий на берегу, мы въехали бы прямо в сифон, на чем наши путешествия кончились бы раз и навсегда. На бечевнике мы встретили господина, очень заинтересовавшегося нашим плаванием. И тут мне пришлось стать свидетелем любопытного пароксизма лжи, который внезапно овладел Папироской: нож у него был норвежский, и по этой причине он вдруг принялся описывать множество своих приключений в Норвегии, где никогда не бывал. Его била настоящая лихорадка, и в конце концов он сослался на то, что в него вселился дьявол.

Муи - приятное селеньице, которое облепило окруженный рвом замок. Воздух был напоен ароматом конопли с соседних полей. В “Золотом баране” нас приняли прекрасно. Общий зал украшали немецкие снаряды - сувениры осады Ла-Фера, нюренбергские фигурки, золотые рыбки в круглом аквариуме и множество всяких безделушек. Хозяйка - некрасивая, близорукая, добродушная толстуха - обладала кулинарным талантом, приближавшимся к гениальности. И это ей было, по-видимому, известно. После каждой перемены она являлась в зал

и, щуря подслеповатые глазки, несколько минут созерцала стол. “C’est bon n’est-ce pas?” {Вкусно, правда? (франц.).}, - спрашивала она затем и, услышав утвердительный ответ, вновь исчезала на кухне. Такое обычное французское блюдо, как куропатка с капустой, в “Золотом баране” обрело в моих глазах новую цену, и поэтому многие-многие последующие обеды только горько меня разочаровывали. Сладостен был наш отдых в “Золотом баране” в Муи.

НЕДОБРОЙ ПАМЯТИ ЛА-ФЕР

Мы мешкали в Муи добрую часть дня, так как культивируем философичность и из принципа презираем длинные переходы и ранние отъезды. К тому же это местечко необыкновенно располагало к приятной лени. Из замка вышла элегантная компания в щегольских охотничьих костюмах, с ружьями и ягдташами - остаться дома, когда эти изящные искатели удовольствий покинули свои постели ни свет ни заря, само по себе было большим удовольствием. Кто угодно может почувствовать себя аристократом и разыграть герцога среди маркизов или царствующего монарха среди герцогов при условии, что ему удастся

превзойти

их безмятежностью духа. Невозмутимость порождается абсолютным терпением.

Тихие умы не поддаются ни недоумению, ни панике, но и в счастье и в

несчастье идут свойственным им ходом, как стенные часы во время грозы.

До Ла-Фера мы добрались очень быстро, но когда устроили байдарки на

ночь, уже смеркалось и начал накрапывать дождь. Ла-Фер - укрепленный город

на равнине, окруженный двумя поясами фортификаций. Между первым и вторым

поясом лежат пустыри и кое-где - огороды. На дороге там и сям торчат

надписи, именем военно-инженерного искусства запрещающие сворачивать с нее.

Наконец мы достигли вторых ворот и вошли в город. Окна уютно светились, в

воздухе плавали дразнящие запахи вкусной еды. Город был переполнен

резервистами, вызванными на большие осенние маневры, и они быстро пробегали

по улицам, кутаясь в свои внушительные шинели. Вечер, казалось, был

специально создан для того, чтобы сидеть дома за ужином и слушать, как дождь

стучит по стеклам.

Мы с Папироской всячески предвкушали это блаженство, так как нам

говорили, что гостиница в Ла-Фере превосходная. Какой ужин мы съедим! В

какие постели уляжемся! А дождь тем временем будет поливать бесприютных

путников среди тополей на лугах. У нас просто слюнки текли от этих мыслей.

Гостиница носила название какого-то лесного зверя - оленя, лани, косули…

точно не помню. Но я никогда не забуду, какой вместительной и чрезвычайно

комфортабельной выглядела она снаружи. Арка ворот была ярко освещена - и не

особым фонарем, но бесчисленными каминами и свечами в доме. До нашего слуха

донесся звон посуды, нашим взорам открылись беспредельные просторы белой

скатерти; кухня пылала огнем, как кузница, и благоухала, как съедобный

райский сад.

И вот представьте себе, как туда, в святая святых и физиологическое

сердце трактира, где все печи дышали жаром и все столы ломились от

разнообразнейших припасов, торжественно вступили мы - двое промокших

оборванцев с обмякшими прорезиненными мешками в руках. Я, вероятно, не

разглядел эту кухню как следует, ибо видел ее сквозь розовый туман, но мне

показалось, что она была полна белоснежных поварских колпаков, которые разом

оторвались от сковород и кастрюль и удивленно повернулись в нашу сторону.

Зато хозяйку заведения можно было узнать сразу и безошибочно: она возглавляла свою армию, побагровевшая, сердитая женщина и к тому же очень занятая. И к ней-то я обратился с вежливым вопросом - чересчур вежливым, по мнению Папироски, - можно ли нам тут переночевать. Она холодно оглядела нас с головы до ног.

- Поищите ночлег в предместье, - ответила она. - У нас нет свободных комнат для таких, как вы.

Я не сомневался, что стоит нам войти, переодеться и заказать бутылку вина, как все уладится, и поэтому я сказал: - Ну, если для нас нет постелей, то пообедать мы, во всяком случае, можем. - И вознамерился опустить мешок на пол.

Физиономию хозяйки сотрясло могучее землетрясение. Она грозно подскочила к нам и топнула ногой.

- Вон! Вон отсюда! - закричала она. - Sortez! Sortez! Sortez par la porte!

Не знаю, как это произошло, но в следующую минуту мы уже снова мокли под дождем в темноте и я ругался у ворот, как разочарованный нищий. Где были королевские водники Бельгии? Где был судья и его прекрасные вина? И где были грации Ориньи? Какой черной казалась ночь после жаркой и светлой кухни! Но

чернота в наших сердцах была еще непроницаемее! Мне не впервые отказывали в ночлеге. Как часто представлял я себе, что именно я сделаю, если меня вновь постигнет такая неудача. Но представлять легко! А как выполнить подобный план, когда сердце кипит возмущением? Вот попробуйте, попробуйте разок, а потом расскажите мне, что у вас получилось.

Все эти прекраснодушные разговоры о бродягах и нравственности ни к чему не ведут. Шесть часов в полицейском участке (которые довелось провести там мне) или один грубый отказ, полученный в гостинице, заставят вас изменить ваши взгляды на вопрос не хуже множества лекций. До тех пор, пока вы пребываете в горних высях и весь мир угодливо склоняется перед вами, социальное устройство общества представляется вам безупречным. Но попадите-ка разок под колеса, и вы пошлете общество ко всем чертям. Я дам самому высоконравственному человеку две недели подобной жизни, а потом куплю остатки его респектабельности за два пенса.

Сам же я, когда меня вышвырнули из “Оленя”, “Лани” или как там назывался этот трактир, с удовольствием поджег бы храм Дианы, окажись он

тогда у меня под рукой. Не существовало преступления достаточно кощунственного, чтобы выразить мое неодобрительное отношение ко всем общественным институтам. Что до Папироски, то мне ни разу в жизни не приходилось видеть, чтобы человек так резко менялся.

- Нас снова приняли за коробейников, - сказал он. - Боже великий, каково же это - быть настоящим коробейником!

Затем он подробно перечислил все недуги, которые должны были поразить тот или иной сустав в теле хозяйки. По сравнению с ним Тимон Афинский показался бы человеколюбцем. А когда он достигал апогея в своих проклятиях, то внезапно обрывал их и принимался слезливо сочувствовать бедным.

- Боже меня упаси, - сказал он (и надеюсь, его молитва была услышана), - когда-нибудь впредь быть резким с коробейником.

Неужто это был невозмутимый Папироска? Да, да, это был он. О перемена, превосходящая всякое вероятие, немыслимая, неправдоподобная!

А тем временем небеса плакали на наши макушки, а окна вокруг светились все ярче по мере того, как сгущалась тьма. Мы уныло бродили по улицам Ла-Фера; мы видели лавки и частные дома, где люди сидели за обильным ужином; мы видели конюшни, где перед извозчичьими клячами стояли полные сена кормушки, а на полу была постелена чистая солома; мы видели множество резервистов, которые, возможно, очень жалели себя в эту сырую ночь и с тоской вспоминали родной дом - но разве у каждого из них не было своего

места в казармах Ла-Фера? А у нас - что было у нас?

Других гостиниц в городке как будто не имелось: во всяком случае, следуя указаниям прохожих, мы всякий раз возвращались к месту нашего позорного изгнания. К тому времени, когда мы исходили весь Ла-Фер, трудно было бы найти людей несчастнее нас, и Папироска уже собирался улечься под тополем и поужинать черствой коркой. Но вот на противоположном конце города, у самых ворот, мы увидели ярко освещенный и полный оживления дом. “Под Мальтийским крестом”, - гласила вывеска. - “Заведение Базена, стол и постели”. Тут мы и нашли приют.

Зал был переполнен шумными резервистами, которые усердно пили и курили, и мы от души обрадовались, когда на улице раздались звуки барабанов и горнов, после чего все резервисты, похватав свои кепи, поспешили в казармы.

Базен оказался высоким, начинающим полнеть человеком с ясным, кротким лицом и мягким голосом. Мы пригласили его выпить с нами, но он отказался, сославшись на то, что весь день должен был чокаться с резервистами. Это был совсем другой тип рабочего - содержателя гостиницы, не похожий на громогласного спорщика в Ориньи. Он тоже любил Париж, где в юности работал маляром.

- Сколько там возможностей пополнять свое образование! - сказал он.

И тем, кто читал у Золя описание того, как рабочие-молодожены и их гости посещают Лувр, следовало бы в качестве противоядия послушать Базена. В юности он бредил музеями.

- Там можно видеть маленькие чудеса труда, - сказал он, - которые помогают стать хорошим рабочим. Они разжигают искру.

Мы спросили, как ему живется в Ла-Фере.

- Я женат, - ответил он. - И у меня есть мои милые дети. Но, честно говоря, разве это жизнь? С утра до вечера я чокаюсь с оравой людей, не то чтобы плохих, но таких невежественных!

Вскоре распогодилось, и из-за туч выплыла луна. Мы расположились на крыльце, вполголоса беседуя с Базеном. Из кордегардии напротив то и дело выходил караул, потому что из ночного мрака то и дело с лязгом возникали обозы полевой артиллерии или закутанные в плащи кавалерийские патрули.

Через некоторое время к нам присоединилась мадам Базен. Наверное, она очень устала за день: она прильнула к мужу и положила голову ему на грудь. Он обнял ее и начал тихонько поглаживать по плечу. Мне кажется, Базен не солгал: он действительно был женат. Как мало мужей, о которых можно

сказать то же!

Базены и не подозревали, сколько они для нас сделали. В счете упоминались свечи, еда, вино и постели. Но в него не были занесены ни дружеская беседа с хозяевами, ни прекрасное зрелище их взаимной любви. Не была в него включена и еще одна статья. Их учтивость вновь подняла нас в собственном мнении. Мы жаждали заботливого внимания, так как оскорбление все еще жгло нас, и ласковый прием, который мы нашли у них, словно восстановил нас в наших законных правах.

Как мало и как редко платим мы за оказываемые нам услуги! Хотя мы словно бы и не выпускаем кошелька из рук, лучшее, что мы получаем, остается невознагражденным. Но мне хочется думать, что истинно благодарный дух не только берет, но и дает. Быть может, Базены догадывались, как они мне нравятся? Быть может, и они нашли исцеление от каких-то мелких обид, видя мою признательность?

ВНИЗ ПО УАЗЕ

ЧЕРЕЗ ЗОЛОТУЮ ДОЛИНУ

За Ла-Фером река бежит среди обширных лугов, зеленого и сочного рая скотоводов, который зовется Золотой долиной. Неиссякаемый водный поток, ровным и бешеным галопом выписывая широкие петли, омывает и одевает зеленью каждый луг. Рогатый скот, лошади и низкорослые веселые ослики пасутся там бок о бок и вместе спускаются к воде, чтобы напиться. Они вносят в ландшафт что-то странное и неожиданное, особенно в те минуты, когда, испугавшись чего-нибудь, принимаются носиться взад и вперед, вскидывая неуклюжие тела и морды. Начинает казаться, что ты попал в безграничные пампасы, туда, где бродят стада кочевников. Вдали на обоих берегах вставали холмы, а слева река иногда подбиралась к лесистым отрогам Куси и Сен-Гобена.

В Ла-Фере шли артиллерийские стрельбы, а вскоре к этому грохоту присоединилась и небесная канонада. Две гряды туч сошлись над нашими головами и принялись обмениваться залпами, хотя вся окружность горизонта была чистой и купалась в солнечном свете. Рев пушек и гром совсем перепугали стада в Золотой долине. Мы видели, как животные мотают головами и мечутся в

робкой нерешительности; когда же они все-таки принимали решение, ослики

следовали за лошадьми, а коровы - за осликами, и над лугами разносился гром

их копыт. В этом топоте было что-то воинственное, словно шел в атаку

кавалерийский полк. И, таким образом, наш слух услаждала самая мужественная

военная музыка.

Наконец, пушки и гром стихли; мокрые луга заблестели на солнце, воздух

заблагоухал дыханием ликующих деревьев и трав, а река продолжала неутомимо

мчать нас вперед. Перед Шони пошли фабрики, а затем берега стали такими

высокими, что скрыли окружающую местность, и мы не видели ничего, кроме

крутых глинистых склонов и бесконечных ив. Лишь изредка мы проносились мимо

деревушки или парома, да иногда с обрыва удивленный мальчишка следил за тем, как мы огибаем мысок. Наверное, мы продолжали грести в снах этого мальчугана

еще много ночей!

Солнце и дождь чередовались с постоянством дня и ночи, и от этого время

шло медленнее. Когда припускал ливень, я ощущал, как каждая отдельная капля, пронизывая свитер, впивается в мою теплую кожу, и эти непрерывные уколы

приводили меня в исступление. Я решил купить себе в Нуайоне макинтош. Не велика беда - промокнуть, но из-за этих ледяных колючек, разом поражавших все мое тело, я начинал бить веслом по воде, как сумасшедший. Папироску эти мои взрывы весьма забавляли. Они вносили некоторое разнообразие в созерцание глиняных берегов и ивовых зарослей.

И все это время река то кралась вперед, как вор, то, закручивая водовороты, выписывала излучину, ивы кивали, потому что она весь день подмывала их корни, глинистые берега обрушивались в воду: Уаза, столько веков создававшая Золотую долину, казалось, закапризничала и решила разрушить все, что было ею сделано. Чего только не способна натворить река, в простоте сердечной повинуясь закону тяготения!

НУАЙОНСКИЙ СОБОР

Нуайон стоит примерно в миле от реки на небольшой, окруженной лесистыми холмами равнине, целиком заняв пологую возвышенность своими черепичными крышами, над которыми господствует собор с необыкновенно прямой осанкой и

двумя чопорными башнями. Пока мы подходили к городку, черепичные крыши, казалось, торопливо карабкались на холм в живописном беспорядке, но как они ни старались, им не удавалось вскарабкаться выше колен собора, вздымавшегося над всеми ними торжественно и строго. По мере того как улицы приближались к этому гиганту - властительному гению здешних мест - и проскальзывали через рыночную площадь у ратуши, они все более пустели, становились все более чинными. К величественному зданию они повертывались глухими стенами и закрытыми ставнями, а между белыми плитами мостовой росла трава. “Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая”.

Тем не менее “Северный отель” зажигает свои светские свечи в нескольких шагах от собора, и все утро мы любовались из окна нашего номера великолепным восточным фасадом. Я редко испытывал подобную дружескую симпатию, глядя на восточный фасад церкви. Тут собор, расходясь тремя широкими лестницами и мощно упираясь в землю, напоминает корму старинного галеона. В нишах контрфорсов стоят вазы, точно кормовые фонари. Земля возле горбится пригорком, а над краем крыши виднеются верхушки башен, словно добрый

старыи корабль лениво покачивается на атлантических валах. Еще миг - и он отойдет от тебя на сотню футов, взбираясь на гребень следующей волны. Еще миг - распахнется окошко, и старинный адмирал в треугольной шляпе высунется из него с подзорной трубой. Старинные адмиралы больше не плавают по морям, старинные галеоны все давно сломаны и живут теперь только на картинках, но этот собор, который был собором, когда они еще и не начинали бороздить моря, по-прежнему гордо высится на берегу Уазы. Собор и река, вероятно, самое древнее, что есть в округе, и, несомненно, оба в своей старости великолепны.

Причетник проводил нас на верх одной из башен, где находилась звонница с пятью колоколами. С этой вышины город казался цветной мостовой из крыш и садов, мы ясно разглядели сглаженные древние валы, а причетник показал нам далеко на равнине в ярком клочке неба между двух облаков башни замка Куси.

Большие церкви мне никогда не приедаются. Они - мой любимейший горный пейзаж. Собор, конечно, - самое вдохновенное создание человечества: нечто на первый взгляд единое и законченное, как статуя, но при подробном

рассмотрении столь же живое и захватывающее, как лес вблизи. Высоту шпилей нельзя определять с помощью тригонометрии - они получаются до нелепости низкими. Но какими высокими кажутся они восхищенному взгляду! А когда видишь такое множество гармоничных пропорции, возникающих одна из другой и сливающихся воедино, то пропорциональность начинает казаться чем-то трансцендентным, переходит в какое-то иное, более важное качество. Я никогда не мог понять, откуда у людей берется смелость проповедовать в соборах. Что бы они ни сказали, это может только ослабить впечатление. За свою жизнь я слышал порядочное количество проповедей, но любая из них далеко уступает в выразительности собору. Он великолепнейший проповедник и проповедует днем и ночью, не только повествуя о человеческом искусстве и дерзании в прошлом, но и пробуждая в вашей душе сходные чувства; а вернее, подобно всем хорошим проповедникам, он дает лишь необходимый толчок, и вы начинаете проповедовать себе - в конце-то концов каждый человек сам себе доктор богословия.

К вечеру, когда я расположился на воздухе у дверей гостиницы, из

собора, как властный призыв, донесся нежный рокочущий гром органа. Я очень

люблю театр и был не прочь посмотреть два-три акта этого спектакля, но мне

так и не удалось понять сущность богослужения, свидетелем которого я

оказался. Когда я вошел, четверо, а может быть, пятеро священников и столько

же певчих перед высоким алтарем пели “Miserere”. Если не считать нескольких

старух на скамьях и кучки стариков, стоявших на коленях на каменных плитах

пола, собор был пуст. Некоторое время спустя из-за алтаря попарно длинной

вереницей вышли молоденькие девушки в черных одеяниях и с белыми вуалями и

начали спускаться в центральный неф; каждая держала в руке зажженную свечу, а первые четыре несли на столе статую девы Марии с младенцем. Священники и

певчие поднялись с колен и замкнули процессию, распевая “Ave Maria”. Таким

порядком они обошли весь собор, дважды пройдя мимо колонны, к которой

прислонялся я. Загадочный старик священник, показавшийся мне главным, шел, склонив голову на грудь. Губы его бормотали слова молитвы, но когда он

бросил на меня темный взгляд, я подумал, что мысли его заняты не молитвами.

Двое остальных, чьи голоса звучали куда громче, смахивали на грубых,

толстых

мясников лет сорока с военной выправкой и наглыми сытыми глазками; пели они

со смаком, и “Ave Maria” в их устах приобретала сходство с гарнизонными

куплетами. Девицы держались робко и скромно, но, пока они медленно двигались

по проходу, каждая исподтишка посматривала на англичанина, а дюжая монахиня, надзиравшая за ними, испепелила его взглядом. Что до певчих, то они с начала

и до конца проказничали, как умеют проказничать только мальчишки, лишая

церемонию всякой торжественности.

Дух происходящего был мне во многом понятен. Да и как можно не понять

“Miserere”, - по моему мнению, творение убежденного атеиста? Если

проникаться отчаянием - благо, то “Miserere” - самая подходящая для этого

музыка, а собор - достойное обрамление. В этом я полностью согласен с

католиками - кстати, не странно ли, что они называются именно так? Но к

чему, во имя всего святого, эти шалуны-певчие? К чему эти священники, которые искоса разглядывают прихожан, притворяясь погруженными в молитву?

Эта толстуха монахиня, которая грубо дирижирует своей процессией и больно

дергает за локоть провинившихся девиц? К чему это сплевывание, сопение, забытые ключи и прочие тысячи досадных мелочей, нарушающих благоговейное

настроение, которое с таким трудом создают песнопения и орган? Преподобные

отцы могли бы у любого театра поучиться, чего удается достичь с помощью даже

небольшой дозы искусства и как важно для пробуждения высоких чувств

хорошенько вымуштровать своих статистов и держать каждую вещь на ее месте.

И еще одно обстоятельство меня расстроило. Сам я мог стерпеть

“Miserere”, так как последние недели все время был на свежем воздухе и

занимался физическими упражнениями, но я от души желал, чтобы этих стариков

и старух здесь не было. Ни музыка, ни ее божественность никак не подходили

для людей, уже узнавших почти все невзгоды жизни и, вероятно, имевших

собственное мнение о ее трагической стороне. Человек преклонных лет обычно

носит в душе свое “Miserere”, хотя я и замечаю, что такие люди предпочитают

“Te Deum”. А вообще-то лучшим богослужением для престарелых будут, пожалуй, их собственные воспоминания: - сколько друзей умерло, сколько надежд

потерпело крушение, сколько ошибок и неудач, но в то же время сколько и

счастливых дней и милостей провидения! Во всем этом, без сомнения, найдется

достаточно материала для самой вдохновенной проповеди.

В целом же впечатление было очень торжественным и глубоким. На

маленькой иллюстрированной карте нашего путешествия внутрь страны, еще

хранимой моей памятью, которая порой развертывает ее в минуты досуга, Нуайонский собор нарисован в колоссальном масштабе и по величине равен

целому департаменту. Я и сейчас вижу перед собой лица священников, словно

они стоят совсем рядом, и слышу, как под сводами гремит "Ave Maria, ora pro nobis". Эти великолепные воспоминания совсем заслонили остальной Нуайон, и я

не хочу ничего больше про него рассказывать. Это - просто скопление бурых

кровель, под которыми люди ведут, наверное, весьма респектабельную и тихую

жизнь, но когда солнце клонится к закату, на город; падает тень собора и

звон пяти колоколов проникает во все его уголки, возвещая, что орган уже

поет. Если я когда-нибудь решу присоединиться к римско-католической церкви, я поставлю условием, чтобы меня сделали епископом Нуайона на Уазе.

ВНИЗ ПО УАЗЕ

В КОМПЬЕН

Самым терпеливым людям в конце концов надоедает постоянно мокнуть под

дождем, если, конечно, дело не происходит в горах Шотландии, где вообще забываешь, что существует ясная погода. Именно это грозило нам в тот день, когда мы покинули Нуайон. Я ничего не помню об этом плавании: только глинистые откосы, ивы и дождь - ничего, кроме непрерывного, безжалостного, колючего дождя, пока мы не остановились перекусить в маленькой гостинице в Пенпре, где канал подходит к реке почти вплотную. Мы совсем вымокли, и хозяйка даже зажгла в камине немного хворосту, чтобы мы могли согреться; так мы и сидели в клубах пара, оплакивая свои невзгоды. Хозяин дома надел ягдташ и отправился на охоту, а хозяйка, расположившись в дальнем уголке, не спускала с нас глаз. Наверное, мы представляли собой интересное зрелище. Мы ворчливо вспоминали наши неудачи в Ла-Фере, мы предвидели, что в будущем нас ждут другие Ла-Феры. Впрочем, дела шли лучше, когда от нашего имени говорил Папироска: у него было намного больше апломба, чем у меня, и к хозяйкам гостиницы он обращался с такой тупой решимостью, что она заставляла забывать о прорезиненных мешках. Заговорив о Ла-Фере, мы, естественно, перешли на резервистов.

- Маневры, - заметил он, - кажутся мне довольно скверным осенним

отдыхом.

- Не более скверным, - возразил я уныло, - чем плавание на байдарке.

- Господа путешествуют для удовольствия? - осведомилась хозяйка с бессознательной иронией.

Это оказалось последней соломинкой. Завеса спала с наших глаз. Еще один дождливый день - и мы грузим байдарки в поезд.

Погода поняла намек. Больше мы ни разу не вымокли. К вечеру небо очистилось от туч. По нему еще плыли величественные облака, но уже поодиночке среди широких голубых просторов, а закат в тончайших розовых и золотых тонах возвестил наступление звездной ночи и целого месяца ясной погоды. И в то же время река вновь начала развертывать перед нами окрестные пейзажи. Обрывы исчезли, а с ними и ивы; вокруг теперь вздымались красивые холмы, и их профили четко рисовались на фоне неба.

Вскоре канал, добравшись до последнего шлюза, начал выпускать в Уазу свои плавучие дома, и нам уже нечего было опасаться одиночества. Мы вновь свиделись со старыми друзьями: рядом с нами весело плыли вниз по течению “Део Грациас” из Конде и “Четыре сына Эймона”; мы обменивались речными

шуточками с рулевыми, примостившимися на бревнах, и с погонщиком, охрипшим

от понукания лошадей; а дети вновь подбегали к борту и смотрели, как мы

проплываем мимо. Все это время мы как будто и не скучали без них, но до чего

же мы обрадовались, завидев дымок над их трубами!

Чуть ниже по течению нас ждала еще более примечательная встреча, ибо

тут к нам присоединилась Эна, река, проделавшая уже немалый путь и только

что расставшаяся с Шампанью. На этом кончилась шаловливая юность Уазы; теперь она стала величественной, полноводной матроной, помнящей о своем

достоинстве и многочисленных дамбах. Отныне от нее веяло только покоем.

Деревья и города отражались в ней, как в зеркале. Она легко несла байдарки

на своей могучей груди, и нам больше уже не приходилось отчаянно

напрягаться, выгребая из водоворота - день протекал в блаженном безделье, и

лишь изредка весло погружалось в воду то с одного, то с другого борта без

всякого усилия или хитрых расчетов. Поистине мы вступили в край погоды, безупречной во всех отношениях, и река несла нас к морю со всем уважением, подобающим джентльменам.

Мы увидели Компьен на закате: прекрасный профиль города над рекой. По

мосту под барабанную дробь проходил полк. На набережных толпился народ - кто

удил, а кто просто смотрел на воду. При виде наших байдарок все начинали указывать на них и переговариваться. Мы причалили к наплавной прачечной, где прачки еще колотили вальками белье.

В КОМПЬЕНЕ

Мы остановились в большом оживленном отеле, где никто не заметил нашего появления.

Резервисты и вообще militarismus (как выражаются немцы) господствовали повсюду. Лагерь конических белых палаток около города казался листком из иллюстрированной библии; на стенах всех кафе красовались портупеи, а на улицах весь день гремела военная музыка. Англичанин в Компьене не мог не воспрянуть духом, ибо солдаты, маршировавшие под барабан, были щупленькими и шли кто во что горазд. Каждый наклонялся под своим особым углом и чеканил шаг по собственному разумению. Куда им было до великолепного полка шотландских великанов-горцев, которые маршируют за своим оркестром, грозные

и необоримые, как явление природы! Кто из видевших их может забыть идущего

впереди тамбур-мажора, тигровые шкуры барабанщиков, развевающиеся пледы

волынщиков, поразительный эластичный ритм шагающего в ногу полка - и дробь

барабана, когда смолкают литавры, чтобы визгливые волынки могли продолжить

их воинственный рассказ?

Шотландская девочка, учившаяся во французской школе, как-то попробовала

описать своим французским товаркам наш полковой парад, и пока она говорила, - рассказывала она мне, - воспоминания становились такими живыми и яркими, ее переполнила такая гордость при мысли, что она соотечественница подобных

солдат, а сердце сдавила такая тоска по родине, что голос ее прервался и она

разрыдалась. Эта девочка живет в моей памяти, и я убежден, что ей стоило бы

воздвигнуть памятник. Назвать ее “барышней” со всеми манерными ассоциациями; заключенными в этом слове, значило бы нанести ей незаслуженное оскорбление.

Но в одном она может быть уверена: пусть она никогда не выйдет замуж за

героя-генерала, пусть ее жизнь не принесет великих плодов - все равно она

жила на благо родной стране.

Но если на параде французские солдаты выглядят не слишком авантажно, зато на марше они веселы, бодры и полны энтузиазма, как охотники на лисиц.

Как-то в лесу Фонтенбло на дороге в Шальи между “Ба-Брео” и “Королевой

Бланш” я встретил маршевую роту. Впереди шагал запевала и громко пел

задорную походную песню. Его товарищи шагали и даже раскачивали винтовки

точно в такт. Молодой офицер, ехавший сбоку верхом, с трудом сохранял

серьезность, слушая слова песенки. Их походка была неописуемо веселой и

бодрой - никакие школьники; не могли бы играть с большим увлечением - и, казалось, таких рьяных ходоков ничто не может утомить.

В Компьене меня особенно восхитила ратуша. Я просто влюбился в эту

ратушу. Она истинное воплощение такой непрочной на вид готической легкости: бесчисленные башенки, химеры, проемы и всяческие архитектурные причуды.

Некоторые ниши позолочены или раскрашены, а на большой квадратной панели в

центре расположен черный горельеф на золотом поле: Людовик XII едет на

боевом коне, уперев руку в бок и откинув голову. Каждая его черта дышит

царственным высокомерием; нога в стремени надменно отделяется от стены; глаз

глядит сурово и гордо; даже конь словно с удовольствием шагает над

распростертыми сервами, и ноздри его таят дыхание труб. Вот так вечно едет

по фасаду ратуши добрый король Людовик XII, отец своего народа.

Над головой короля на высокой центральной башенке виднеется циферблат, а еще выше - три механические фигурки с молотами в руках, на чьей

обязанности лежит вызванивать часы, половины и четверти часа для компьенских

буржуа. Центральная фигурка щеголяет позолоченной кирасой, боковые облачены

в золоченые штаны с буфами, и все трое носят изящные широкополые шляпы, точно кавалеры времен Карла I. Когда приближается четверть часа, они

поворачивают головы, многозначительно переглядываются, и - клинг! - три

маленьких молота опускаются на три маленьких колокола, а затем изнутри

башенки доносится густой мелодичный звон, отмеряющий час; после чего три

позолоченных господинчика благодушно отдыхают от трудов праведных.

Я извлек немало чистой радости из их манипуляций и старался по мере

возможности не пропускать ни одного представления, причем оказалось, что

Папироска, хоть он и делал вид, будто презирает мои восторги, сам был их

преданным поклонником. Есть что-то крайне нелепое в том, как такие игрушки

выставляются на крыше дома, где зима может расправляться с ними по своему

усмотрению. Им больше пошел бы стеклянный колпак с каких-нибудь

нюренбергских часов. А главное, ночью, когда дети давно спят, да и взрослые

уже похрапывают под пуховыми одеялами, разве не вопиющая небрежность -

оставлять эти пряничные фигурки перемигиваться и перезваниваться под

звездами и неторопливо плывущей луной? Пусть себе химеры на водосточных трубах выкручивают обезьяньи головы; пусть даже монарх едет себе на своем жеребце, точно центурион со старинной немецкой гравюры в “Via Dolorosa” {Скорбный путь (лат.).}, но игрушки надо убирать на ночь в ящичек с ватой и вынимать их только после восхода солнца, когда на улицу выбегают дети.

На компьенском почтамте нас ожидала большая пачка писем; и местные почтовые власти в виде исключения были так любезны, что выдали их нам по первому требованию.

В некотором отношении наше путешествие, можно сказать, кончилось в Компьене с получением этих писем. Чары были нарушены. С этой минуты мы уже отчасти вернулись домой.

Никогда не следует вести переписку во время путешествия. Чего стоит одна необходимость писать! Но полученное письмо убивает все каникулярные ощущения наповал.

Я покидаю свою страну и себя. Я хочу на время попасть в новую обстановку, словно погрузиться в иную стихию. На какое-то время я хочу расстаться с моими друзьями и привязанностями; когда я отправляюсь в путь, я

оставляю сердце дома в ящике бюро или посылаю его вперед с чемоданом в конечный пункт моей поездки. Когда путешествие кончится, я не замедлю прочесть ваши чудесные письма со всем вниманием, которого они заслуживают.

Но заметьте, пожалуйста: я истратил все эти деньги и сделал все эти удары веслом с одной-единственной целью - побывать за границей; а вы своими вечными посланиями упорно держите меня дома. Вы дергаете нитку, и я вспоминаю, что я - пленная птица. Вы преследуете меня по всей Европе теми назойливыми мелочами, от которых я и уехал. На войне жизни не бывает отпуска, мне это известно, но неужели невозможно освободиться хотя бы на неделю?

В день отъезда мы встали в шесть часов. Отель совершенно нас не замечал, и я уже думал, что он не снизойдет до того, чтобы представить нам счет. Однако счет был представлен, и с самым подробным перечислением пунктов; мы вежливо уплатили равнодушному портье и вышли из отеля с прорезиненными мешками, так никем и не замеченные. Никому не было любопытно узнать, кто мы такие. Встать раньше деревни невозможно, однако Компьен уже такой большой город, что утром он нежится в постели, и мы покидали его, пока

он еще не снял утреннего халата и туфель. Улицами владели люди, моющие

крылечки; никто не был одет полностью, кроме господинчиков на ратуше; они же

умылись росой, бодро поблескивали позолотой и были полны рассудительности и

чувства профессиональной ответственности. Клинг! - отбили они на колоколах

половину седьмого, когда мы проходили мимо. Меня очень тронула эта их

прощальная любезность: они ни разу так хорошо не звонили - даже в полдень в

воскресенье.

Никто не провожал нас, кроме прачек - раньше всех начинающих и позже

всех кончающих работать, - которые уже били вальками белье в своей наплавной

прачечной. Они были очень веселы, эти ранние пташки, смело погружали руки в

воду, и она словно не обжигала их холодом. Такое раннее и ледяное начало

самого унылого труда привело бы меня в полнейшее уныние. Однако я думаю, что

они так же не согласились бы обменять свои дни на наши, как на это не

согласились бы и мы. Они столпились в дверях, следя за тем, как мы, взмахивая веслами, погружаемся в солнечный утренний туман, и кричали нам

вслед добродушные напутствия, пока мы не скрылись под мостом.

ИНЫЕ ВРЕМЕНА

В определенном смысле этот туман не рассеялся до конца нашего путешествия, и с этого утра он окутал мою записную книжку густым покровом. Пока Уаза оставалась сельской речкой, она проносила нас под самыми порогами людских жилищ, и мы могли беседовать с туземцами на заливных лугах. Но теперь, когда она стала такой широкой, жизнь на берегах оставалась в отдалении. Разница была примерно такой же, как между большим шоссе и узенькой тропкой, петляющей среди деревенских огородов. Теперь мы останавливались на ночлег в городах, где никто не докучал нам расспросами; мы приплыли в цивилизованные края, где прохожие не здороваются со всеми встречными. В малолюдных селениях мы из каждого знакомства стараемся извлечь все возможное, но в городах держимся особняком и заговариваем с чужими людьми, только если нечаянно наступим им на ногу. В этих водах мы уже не были редкостными птицами, и никому в голову не приходило, что мы проделали длинный путь, а не приплыли из соседнего города. Помнится, когда мы добрались до Лиль-Адана, например, мы оказались среди множества

прогулочных

лодок, и не было никакой возможности отличить истинного путешественника от

любителя, разве что мой парус был очень грязным. Компания в одной из лодок

даже приняла меня за какого-то своего приятеля! Что могло быть более

оскорбительным для самолюбия? От прежней романтики не осталось и следа. А

вот в верховьях Уазы, где обычно плавают только рыбы, от двух байдарок

нельзя было отмахнуться столь обескураживающим образом: там мы были

загадочными и романтичными пришельцами, люди дивились нам, и это удивление

на протяжении всего нашего пути тут же переходило в легкую и мимолетную

дружбу. В мире ничто не дается даром, хотя порой это бывает трудно заметить

с первого взгляда, ибо счет начат задолго до нашего рождения, а итоги не

подводились ни разу с начала времен. Вас развлекают довольно точно в той же

пропорции, в какой развлекаете вы сами. Пока мы были загадочными

скитальцами, на которых можно глазеть, за которыми можно бежать, как за

лекарем-шарлатаном или за бродячим цирком, мы также очень забавлялись, но

едва мы превратились в заурядных приезжих, все вокруг тоже утратили какое бы

то ни было очарование. Вот, кстати, одна из многих причин, почему мир

то ни было очарование. Вот, кстати, одна из многих причин, почему мир скучен

для скучных людей.

Во время наших первых приключений нам постоянно приходилось что-то

делать, и это обостряло нашу восприимчивость. Даже ливни были живительны и

пробуждали мозг от оцепенения. Но теперь, когда река уже не бежала в точном

смысле этого слова, а несла свои воды к морю с плавностью, маскировавшей

скорость, когда небо изо дня в день улыбалось нам неизменной улыбкой, наше

сознание начало постепенно погружаться в ту золотую дремоту, которую

навевают долгие физические упражнения на свежем воздухе. Я не раз

одурманивал себя с помощью такого способа; по правде говоря, мне чрезвычайно

нравится это ощущение, но ни разу оно не становилось столь всепоглощающим, как во время нашего плавания в низовьях Уазы. Это был апофеоз бездумности.

Мы совсем перестали читать. Порой, когда мне попадалась свежая газета, я не без удовольствия прочитывал очередную порцию какого-нибудь романа с

продолжением, но на три порции подряд у меня не хватало сил, да и второй

кусок уже приносил с собой разочарование. Едва сюжет хоть чуть-чуть

становился мне ясен, он утрачивал в моих глазах всякую прелесть. Только один

изолированный эпизод или, как принято у французских газет, половина эпизода

без причин и следствий, словно обрывок сновидения, были способны

заинтересовать меня. Чем меньше я был знаком с романом, тем больше он мне

нравился: мысль, чреватая многими выводами. По большей же части, как я уже

упоминал, мы вообще ничего не читали и весь краткий досуг между ужином и

сном просиживали над картами. Я всегда очень любил карты и с величайшим

наслаждением путешествую по атласу. Названия на его страницах удивительно

заманчивы, контуры берегов и ленточки рек чаруют взгляд, а стоит наткнуться

на карте на знакомое название - и историк обретает осязаемую форму. Но в эти

вечера мы водили пальцами по нашим дорожным картам с глубочайшим

равнодушием. То или иное место - нам было все равно. Мы смотрели на

развернутый лист так, как младенцы слушают свои погремушки, и, прочитывая

названия городов и деревень, тут же их забывали. Это занятие нас ничуть не

увлекало, и трудно было бы найти еще двух людей, настолько лишенных

воображения. Если бы вы унесли карту в тот момент, когда мы изучали ее

особенно внимательно, то почти наверное мы с не меньшим удовольствием

продолжали бы изучать крышку стола.

Но об одном мы думали страстно и постоянно - о еде. По-моему, я сотворил себе кумира из собственного желудка. Я помню, как мысленно смаковал то или иное блюдо так, что даже слюнки текли, и задолго до того, как мы приставали к берегу для ночлега, назойливые требования моего аппетита не давали мне ни минуты покоя. Иногда мы плыли борт о борт и подзуживали друг друга гастрономическими фантазиями. Кекс с хересом - яство весьма скромное, но на Уазе недостижимое - много миль подряд дразнили мой умственный взор, а как-то у Вербери Папироска привел меня в исступление, заметив, что корзиночки с устрицами особенно хороши под сотерн.

Мне кажется, никто из нас не отдает себе отчета, какую великую роль в жизни играют еда и питье. Власть аппетита так велика, что мы способны уничтожить самую неинтересную провизию и бываем рады пообедать хлебом с водой, точно так же, как некоторые люди обязательно должны что-то читать, пусть даже железнодорожный справочник. И все же в этом есть своя романтика. Возможно, что у желудка поклонников наберется гораздо больше, чем у любви, а в том, что пища бывает обычно куда занимательней пейзажа, я ничуть не сомневаюсь. Неужели вы поверите, будто это в какой-то мере лишает вас

бессмертия? Стыдиться того, чем мы являемся на самом деле, - вот это и есть грубый материализм. Тот, кто улавливает оттенки вкуса маслины, не менее близок к человеческому идеалу, чем тот, кто обнаруживает красоту в красках заката.

Плыть на байдарке не составляло ни малейшего труда. Погружай весло под правильным углом то справа, то слева, держи нос по течению, стряхивай воду, скопившуюся в фартуке, прищуривай глаза, когда солнце слишком уж ярко заискрится на воде, время от времени проскальзывай под посвистывающим буксирным канатом “Део Грациас” из Конде или “Четырех сыновей Эймона” - тут не нужно особенного искусства; лишенные разума мышцы проделывают все это в полудремоте, а мозг тем временем получает полный отдых и погружается в сон. Основные черты пейзажа мы постигали с одного взгляда и краешком глаза созерцали рыболовов в блузах и прачек, полощущих белье. Порой нас на мгновение пробуждал какой-нибудь церковный шпиль, выпрыгнувшая из воды рыба или плеть речных водорослей, намотавшаяся на весло так, что ее приходилось с него срывать. Но и эти светлые интервалы были лишь полусветлыми - начинала

действовать несколько большая часть нашего существа, но целиком мы ни разу не проснулись. Центральное нервное бюро, которое мы подчас называем своей личностью, наслаждалось безмятежным отдыхом, словно отдел какого-нибудь министерства. Огромные колеса разума лениво поворачивались в голове, точно колеса извозчичьей пролетки, и не перемалывали никакого зерна. Я по полчаса подряд считал удары своего весла и неизменно забывал, какую именно сотню отсчитываю. Льщу себя мыслью, что ни одно животное, которое погибает {Библия. Псалом 48, стих 13.}, не способно предъявить более низкой формы сознания. А какое это было удовольствие! Какое веселое, покладистое настроение порождало оно! Человек, достигший этого единственно возможного в жизни апофеоза-Апофеоза Бездумности, становится чист душой и ощущает себя исполненным достоинства и долговечным, как дерево.

Своеобразный момент практической метафизики сопутствовал тому, что я назову глубиной моего рассеяния (поскольку слово "интенсивность" тут не подходит). Волей-неволей я вынужден был размышлять над тем, что философы именуют "я" и "не я", "ego" и "non ego". "Меня" было меньше, а "не меня"

именуют "я" и "не я", "ego" и "non ego". "Меня" было меньше, а "не меня"

больше, чем я привык. Я глядел со стороны на кого-то другого, кто греб; я

чувствовал, что к упору прижимаются чьи-то чужие подошвы; мое собственное

тело, казалось, было связано со мной не более тесно, чем байдарка, река или

речные берега. Более того! что-то внутри моего сознания, часть моего мозга, область моего подлинного существа нарушила вассальную верность и

провозгласила себя самостоятельной, а может быть, переметнулась к тому, другому, кто греб. Я же съежился в ничтожный комочек где-то в уголке моего

существа. Я оказался изолированным внутри моего собственного черепа. Там

появлялись непрошеные мысли, не мои, а явно чьи-то чужие, и я считал их

принадлежностью пейзажа. Короче говоря, я, по-видимому, был настолько близок

к нирване, насколько это вообще возможно в повседневной жизни; если я не

ошибся, то могу лишь от души поздравить буддистов: это весьма приятное

состояние, не очень совместимое с блистательной умственной деятельностью, не

слишком доходное в денежном выражении, но зато абсолютно безмятежное, золотое и ленивое - и находящийся в нем человек неуязвим для тревог. Чтобы

понять его суть, попробуйте представить себе, что вы мертвецки пьяны, но в

то же время достаточно трезвы, чтобы извлекать радость из этого обстоятельства. Подозреваю, что люди, работающие на свежем воздухе, большую часть своих дней проводят в этом экстатическом ступоре, чем и объясняется их неисчерпаемая терпеливость и выносливость. Зачем тратиться на опиум, когда можно даром обрести куда более блаженный рай!

Это состояние духа было высшим свершением нашего плаванья, взятого в целом, наиболее отдаленной землей, которой нам удалось достичь. Право, она лежит настолько в стороне от проторенных дорог языка, что я отчаиваюсь объяснить читателю всю прелесть улыбчатой, самодовольной идиотичности моего состояния, когда идеи вспыхивали и исчезали, как пылинки в солнечном луче, когда церковные шпили и деревья на берегах внезапно навязывали себя моему вниманию, возникая, как скалы в волнующемся море тумана, когда ритмическое шипение воды под носом лодки и под веслом превращалось в колыбельную песенку, убаюкивавшую мои мысли, когда комочек грязи на фартуке то невыносимо раздражал меня, а то вдруг становился приятным спутником, которого я ласково оберегал, - и все это время река бежала между изменяющимися берегами, а я считал удары весла и забывал, какую сотню отсчитываю, и был самым счастливым животным во всей Франции!

отсчитываю, и был самым счастливым животным во всей Франции!

ВНИЗ ПО УАЗЕ

ЦЕРКОВНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ

За Компьеном первую остановку мы сделали в Пон-Сент-Максенсе. На следующее утро в начале седьмого я вышел прогуляться. В воздухе пахло инеем, и холод пощипывал лицо. На небольшой площади человек двадцать рыночных торговок и покупательниц вели обычные споры, и их тоненькие ворчливые пререкания напоминали ссоры воробьев в зимнее утро. Редкие прохожие дули в кулаки и притопывали деревянными башмаками, чтобы разогреть кровь. Улицы были погружены в ледяную тень, хотя дымки печных труб над головой уже пронизывал золотой свет. Если в такое время года проснуться спозаранку, то встаешь в декабре, а завтракаешь в июне.

Я направился к церкви: в церкви всегда есть на что посмотреть - на живых прихожан или на надгробия покойников; там находишь смертоносную убежденность и грубейший обман; а где нет ничего исторического, непременно подслушаешь какую-нибудь современную сплетню. Вряд ли в церкви было

холоднее, чем снаружи, но казалось, будто там намного холоднее. Белый центральный неф приводил на мысль арктическую стужу, а мишурная пышность континентального алтаря выглядела еще более убогой, чем обычно, из-за окружающей пустоты и унылого сумрака. Двое священников сидели в ризнице и читали в ожидании кающихся, а в церкви молилась древняя старуха. Было просто непонятно, как она умудряется перебирать четки, когда молодые здоровые люди дули на пальцы и хлопали себя по груди, чтобы согреться. Хотя последнее относилось и ко мне, но ее способ молиться навел на меня даже большее уныние, чем холод. Она двигалась от скамьи к скамье, от алтаря к алтарю, обходя церковь по кругу. Перед каждой святыней она проводила одинаковое количество минут и отщелкивала одинаковое количество четок. Подобно предусмотрительному капиталисту, несколько цинически оценивающему экономическую перспективу, она старалась вложить свои моления в возможно большее число разнообразных небесных акций. Она не желала рисковать, положившись на кредит одного какого-либо заступника. В сонме святых и ангелов каждый должен был считать себя ее избранным защитником на великом судилище! Я не мог не заподозрить в этом глупого и явного мошенничества, опирающегося на бессознательное неверие.

Мне редко приходилось видеть столь мертвую старуху - кости и пергамент, странным образом соединенные воедино. Ее глаза, вопросительно обратившиеся на меня, были лишены даже проблеска разума. Ее можно было бы назвать слепой - это зависит от того, что считать зрением. Возможно, она знавала любовь, возможно, она носила под сердцем детей, давала им грудь, шептала им ласковые слова. Но теперь все это давно прошло, не сделав ее ни счастливее, ни мудрее, и по утрам ей остается только приходить сюда, в холодную церковь, и выторговывать себе кусочек райского блаженства. И я, судорожно сглатывая, поспешил выбраться наружу, чтобы вдохнуть морозный воздух утра. Утра? Как же должна она устать от него к вечеру! А если ей не удается уснуть, что тогда? Какое счастье, что лишь немногие из нас бывают вынуждены публично свидетельствовать о своей жизни перед судейским столом семидесятилетия! Какое счастье, что столько людей, как говорится, в расцвете лет получают благодетельный удар по затылку и отправляются искупать свои безумства в уединении где-то еще, вдали от посторонних глаз! Иначе среди больных детей и недовольных стариков мы утратили бы всякий вкус к жизни.

В этот день, пока мы плыли, мне потребовалась вся моя церебральная гигиена: дряхлая богомолка стояла у меня поперек горла. Однако вскоре я

уже

забрался на седьмое небо бездумности и знал только одно: кто-то гребет, а я

считаю удары его весла и забываю, какую сотню отсчитываю. Иногда я пугался

при мысли, что могу вдруг вспомнить искомую сотню, превратив тем самым

удовольствие в труд; но страх оказывался эфемерным, сотни исчезали из моей

памяти, как по волшебству, и я не имел ни малейшего представления о моем

единственном занятии.

В Крее, где мы остановились перекусить, мы опять оставили байдарки в

наплавной прачечной, в этот полуденный час битком набитой прачками, краснорукими и громогласными; и из всего Крея я запомнил только их и их

вольные шуточки. Если вам очень этого хочется, я могу заглянуть в учебники

истории и сообщить вам две-три даты, связанные с Креем, так как этот городок

играл немалую роль в английских войнах. Но сам я предпочел бы упомянуть

пансион для девиц, который был нам интересен потому, что был пансионом для

девиц, и потому, что мы воображали, будто представляем для него немалый

интерес. Во всяком случае, девицы гуляли по саду, а мы проплывали по реке, и

вслед нам затрепетало несколько платочков. У меня даже сердце забилось сильнее; и все же как бы мы наскучили друг другу, я и эти девицы, если бы нас познакомили на крокетной площадке! Каким презрением прониклись бы мы друг к другу! А вот эта манера мне нравится: послать воздушный поцелуй или помахать платком тем, кого я вряд ли встречу когда-нибудь еще, поиграть с неосуществленной возможностью, натянуть канву, чтобы фантазия вышивала по ней узоры. Это толчок, напоминающий путешественнику, что он путешественник далеко не всюду и что его путешествие - всего лишь сиеста в неумолимом марше жизни.

Внутри церковь в Крее оказалась ничем не примечательной, на полу грубо пестрели цветные пятна от витражей, а стены опоясывали медальоны, изображавшие Скорбный путь. Впрочем, мне доставило огромное удовольствие одно необычное ex voto: точная модель речной баржи, свисавшая со свода и снабженная письменным выражением надежды на то, что господь приведет "Сен-Никола" из Крея в безопасную гавань. Модель была сделана очень искусно и, несомненно, привела бы в восторг компанию мальчишек где-нибудь на

пруду.

Насмешил же меня характер грозной погибели, которую должно было

предотвратить это ex voto. Вешайте на здоровье изображение морского судна, которому предстоит пропахать борозду вокруг земного шара, посетить тропики

или ледяные полюсы и встречать опасности, вполне заслуживающие свечи и

мессы. Но “Сен-Никола” из Крея предстояло лет десять плавать по заросшим

каналам, влекомому терпеливыми битюгами под шепот тополей на зеленых берегах

и посвистывание шкипера у руля, всегда в виду какой-нибудь деревенской

колокольни - казалось бы, уж где-где можно было бы обойтись без

вмешательства провидения, так именно здесь! Впрочем, как знать, шкипер мог

быть человеком юмористической складки или же пророком, который с помощью

этого нелепого знака хотел напомнить людям о серьезности жизни.

В Крее, как и в Нуайоне, наибольшей любовью из святых пользуется святой

Иосиф - за свою пунктуальность. Ведь в молитве можно оговорить день и час, и

благодарные прихожане не забывают отметить их на вотивной табличке в тех

случаях, когда святой точно удовлетворил просьбу в указанный срок. Всегда, когда важно время, следует обращаться именно к посредничеству святого

Иосифа. Мне было приятно, что у французов он в такой моде, ибо добрый старичок не играет почти никакой роли в религии моей родной страны. Правда, меня несколько тревожила мысль, что раз святого так хвалят за пунктуальность, значит, от него ждут благодарности за посвященную ему табличку.

Нам, протестантам, все это представляется глупостью, а вернее, даже пустяками, не заслуживающими внимания. Но в конце-то концов до тех пор, пока люди испытывают благодарность за ниспосланные им дары, так ли уж важно, в какую глупую форму она облекается и как именно выражается? Подлинное невежество мы встречаем тогда, когда человек не замечает благих даров или считает, что обязан ими только самому себе. Что ни говори, а нет хвастуна смешнее того, кто сам проложил себе путь в жизни! Существует значительная разница между сотворением света из хаоса и зажиганием газового рожка в лондонской гостинице с помощью коробка безопасных спичек; что бы мы ни делали, а всегда будет нечто, данное нашим рукам со стороны, - хотя бы наши десять пальцев.

Однако церковь в Крее демонстрирует нечто и похуже глупости. В этом повинна “Ассоциация четок живых”, о которой я никогда прежде не

слышал. Как

следует из печатного объявления, эта ассоциация была создана на основании

бреве папы Григория XVI, данного 17 января 1832 года; из раскрашенного же

барельефа следует, что она была основана без точного указания даты Пресвятой

Девой, вручившей четки святому Доминику, и Младенцем Христом, вручившим

другие четки святой Екатерине Сиенской. Папа Григорий, конечно, фигура не

столь внушительная, но зато более близкая к нам. Я не совсем понял, была ли

ассоциация чисто молитвенным обществом, или она занималась еще и

благотворительностью, но чрезвычайная ее организованность сомнений не

вызывала: для каждой недели данного месяца указывались фамилии четырнадцати

матрон и девиц, а возглавлялся список еще одной фамилией, обычно замужней

дамы, именуемой “zelatrice” {Ревнительница (франц.).}, - руководительницы

этой группы. Выполнение обязанностей, возлагаемых ассоциацией на ее членов, приносит полное или частичное отпущение грехов. “Частичное отпущение грехов

полагается за прочтение молитв с четками”. По “произнесении требуемого

десятка” частичное отпущение грехов следует немедленно. Когда люди стремятся

заслужить царствие небесное с помощью бухгалтерского учета, я не могу преодолеть опасения, что они внесут тот же коммерческий дух и в отношения со своими ближними, а это превратило бы нашу жизнь в прискорбное и корыстное торжище.

Впрочем, один из пунктов был более милосердным. “Все отпущения, - как оказалось, - могут передаваться душам в чистилище”. Во имя божье, о дамы Крея, без промедления передайте их все душам в чистилище! Берне отказывался от гонорара за свои последние стихи, предпочитая служить родной стране только из любви к ней. Последуйте его примеру, сударыни, и если даже это ненамного облегчит участь душ в чистилище, кое-каким душам в Крее на Уазе это может оказаться полезным и в нашем мире и в ином.

Перенося эти заметки в книгу, я невольно задаюсь вопросом, способен ли человек, с рождения воспитывавшийся в протестантской вере, постичь подобные символы и воздать им должное, и не нахожу иного ответа на этот вопрос, кроме “нет, не способен”. Не могут они в глазах правоверных быть такими безобразными и корыстными, какими вижу их я. Это мне ясно, как эвклидова

аксиома. Ведь этих верующих нельзя назвать ни слабыми, ни дурными людьми. И они могут повесить табличку, восхваляющую святого Иосифа за его аккуратность, словно он по-прежнему остается деревенским плотником, они могут “произнести требуемый десяток” и, выражаясь фигурально, положить в карман отпущение грехов, словно за выполнение какого-то небесного заказа; а потом они могут спокойно прогуливаться по улице, без смущения глядя вниз, на свою чудесную реку, или вверх на точечки звезд, которые на самом деле тоже огромные миры, где много рек величественнее Уазы. Да, мне это ясно, как эвклидова аксиома, - ясно то, что мой протестантский ум упускает что-то самое существенное и что уродства эти проникнуты духом более высоким и религиозным, чем я могу себе хотя бы представить.

Интересно, а будут ли другие столь же терпимы ко мне? Подобно крейским дамам, я прочел требуемые молитвы терпимости и теперь жду немедленного отпущения моих грехов.

ПРЕСИ И МАРИОНЕТКИ

Мы достигли Преси на закате. Равнина тут изобилует тополиными рощицами.

Уаза лежала у подножия холма широким сверкающим полумесяцем. Над водой уже

курился легкий туман, смешивая дали воедино. Нигде ни звука, только на лугу

позвякивали овечьи колокольцы, да поскрипывала тележка, катя вниз по

пологому склону. И окруженные садами домики и магазины на улице, казалось, были покинуты своими обитателями еще накануне, так что я старался ступать

бесшумно, точно гуляя по безмолвному лесу. И вдруг, повернув за угол, мы

увидели на лужайке перед церковью настоящий цветник одетых по последней

парижской моде девушек, которые играли в крокет. Их смех и глухие удары

молотков по шарам сливались в веселый, бодрящий шум, а вид их тоненьких, затянутых в корсеты фигурок в лентах и бантиках вызвал понятное волнение в

наших сердцах. По-видимому, в воздухе уже пахло Парижем. И девушки нашего

круга играли здесь в крокет, словно Преси был реальным городком, а не

биваком в волшебной стране путешествий. Ведь, говоря откровенно, крестьянку

трудно считать женщиной, и, насмотревшись на то, как люди в юбках копают, полют и стряпают, мы не могли не почувствовать приятного удивления при виде

этого нежданного отряда вооруженных до зубов кокеток и немедленно убедились в том, что мы всего лишь слабые мужчины.

Гостиница в Преси оказалась самой скверной гостиницей Франции. Даже в Шотландии мне не доводилось пробовать такой скверной еды. Содержали ее брат и сестра, оба моложе двадцати лет. Сестра состряпала для нас, так сказать, ужин, а затем явился не вполне трезвый брат и привел с собой пьяного мясника, чтобы развлекать нас во время трапезы. В салате мы наткнулись на ломтики чуть теплой свинины, а в рагу - на кусочки неизвестного упругого вещества. Мясник развлекал нас рассказами о парижской жизни, которую, по его словам, он знал досконально, а брат тем временем балансировал на краешке бильярдного стола, посасывая окурок сигары. В самый разгар этого веселья рядом с домом вдруг загремел барабан и хриплый голос начал что-то выкрикивать. Оказалось, что хозяин театра марионеток объявляет о вечернем представлении.

Он поставил свой фургон и зажег свечи на другом конце крокетной лужайки, перед церковью, под рыночным навесом, столь обычным для французских городков; и к тому времени, когда мы неторопливо направились туда, он и

его

жена уже пытались совладать с публикой.

Это было крайне нелепое состязание. Владельцы театра расставили

несколько скамей, и те, кто садился на них, должны были платить два-три су

за такое удобство. На них не было ни единого свободного местечка - настоящий

аншлаг! - до тех пор, пока ничего не происходило. Но едва появлялась

хозяйка, чтобы собрать плату, как при первом же ударе в бубен зрители

вскакивали и отходили в сторонку, засунув руки в карманы. Тут потерял бы

терпение и ангел! Хозяин гремел с просцениума, что нигде во всей Франции, “даже на границе с Германией”, ему не приходилось видеть подобного

безобразия! Нет-нет, таких воров, мошенников и негодяев, по его выражению, он не встречал нигде! Хозяйка вновь и вновь пыталась обойти зрителей и

вносила свою визгливую лепту в филиппики супруга. Тут я не в первый раз

убедился, насколько изобретательнее женский ум, когда надо придумать

оскорбление поязвительней. Зрители только весело смеялись над тирадами

хозяина, но ядовитые выпады его жены задевали их и заставляли огрызаться.

Она знала, куда нанести удар побольнее. Она расправлялась с честью селения, как хотела. Из толпы ей сердито возражали, что только давало ей пищу для еще

более жгучих насмешек. Две почтенные старые дамы рядом со мной, сразу

же

заплатившие за свои места, густо покраснели от негодования и начали довольно

громко возмущаться наглостью этих скоморохов; но чуть только хозяйка

услышала их, как тотчас на них обрушилась: если бы mesdames убедили своих

соседей вести себя честно, то скоморохи сумели бы соблюсти надлежащую

вежливость, заверила она их; mesdames, вероятно, уже скушали свой ужин и, быть может, выпили по стаканчику вина; ну, так скоморохи тоже любят ужинать

и не позволят, чтобы у них прямо на глазах крали их жалкий заработок. Один

раз дело дошло даже до небольшой потасовки между хозяином и кучкой молодых

людей, и первый под насмешливый хохот был тут же повергнут наземь, точно

одна из его марионеток.

Меня чрезвычайно удивила эта сцена, потому что я довольно хорошо знаком

с обычаями и нравами французских бродячих артистов и они всегда производили

на меня прекраснейшее впечатление. Любой бродячий артист должен быть дорог

сердцу человека правильного образа мыслей хотя бы уж потому, что он живой

протест против контор и меркантильного духа, необходимое напоминание, что

жизнь вовсе не обязательно должна быть тем, во что мы ее обычно превращаем. Даже немецкий оркестр, когда видишь, как он рано поутру покидает город и начинает обход деревень среди деревьев и лугов, даже немецкий оркестр дает романтическую пищу воображению. Среди тех, кому нет тридцати лет, не отыщется ни одного, чье сердце было бы уже настолько мертво, чтобы не забиться сильнее при виде цыганского табора. Мы еще не до конца прониклись практицизмом. Человечество еще живо, и юность вновь и вновь храбро порицает богатство и отказывается от теплого местечка, чтобы отправиться странствовать с рюкзаком за спиной.

Англичанину особенно легко разговаривать с французскими гимнастами, потому что родина гимнастов - все-таки Англия. Хотя бы один из этих молодцов в трико и блестках, уж конечно, знает несколько английских слов, пивал английский эль, а может быть, и выступал в английском варьете. Он мой земляк благодаря своей профессии. И подобно бельгийским любителям водного спорта, он немедленно приходит к заключению, что и я наверняка атлет.

Впрочем, я не назову гимнаста своим любимцем; в нем почти ничего, а то и просто ничего нет от художника; по большей части душа его мала и бескрыла, так как его профессия в ней не нуждается и не приучает его к высоким идеям.

Но если человек хотя бы настолько актер, что может кое-как сыграть фарс, ему

открывается доступ к целому кругу совершенно новых мыслей. Ему есть о чем

думать, кроме кассы. У него есть своя гордость, и - что гораздо важнее - он

стремится к цели, которой никогда не может полностью достичь. Он отправился

в паломничество, которое продлится всю его жизнь, так как могло бы

завершиться только недостижимым совершенством. Он каждый день старается

стать лучше, и даже если у него не хватит духа продолжать, все же он всегда

будет помнить, как когда-то его манил этот высокий идеал, как когда-то он

был влюблен в звезду. “Лучше любить и утратить”. Пусть Луне нечего было

сказать Эндимиону, пусть он тихо зажил с Одри и начал откармливать свиней, разве вы не согласны, что до дня смерти его облик будет благороднее, а мысли

величественнее? Неотесанные мужланы, которых он встречает в церкви, никогда

не мечтали ни о чем более высоком, чем свинарник Одри, но в сердце Эндимиона

живет воспоминание, которое подобно пряностям сохраняет его неиспорченным и

гордым.

Пребывание даже на самой окраине искусства налагает печать

благородства

на наружность человека. Помнится, в Шато-Ландон мне как-то довелось обедать

в гостинице за одним столом с довольно многолюдным обществом. В большинстве

обедающих можно было без труда узнать коммивояжеров или зажиточных крестьян, и только лицо одного молодого человека в блузе чем-то разительно отличалось

от остальных. Оно выглядело более законченным, более одухотворенным, живым и

выразительным, и вы замечали, что, когда этот молодой человек смотрит, он

видит. Мы с моим спутником тщетно старались угадать, кто он такой и чем

занимается. В Шато-Ландон в тот день была ярмарка, и когда мы отправились

бродить среди балаганов, мы получили ответ на свой вопрос: наш приятель

играл на скрипке пляшущим крестьянам. Он был бродячим скрипачом.

Однажды, когда я жил в одной гостинице в департаменте Сены и Марны, туда явилась бродячая труппа. Она состояла из отца, матери, их двух дочерей

- двух толстых, наглых потаскушек, которые пели и лицедействовали, не имея

ни малейшего представления о том, как это делается, - и похожего на

гувернера молодого брюнета - бездельника-маляра, который пел и играл

довольно сносно. Гением этой труппы была матушка - насколько можно говорить

о гениальности в применении к шайке таких бездарных шарлатанов; ее супруг не находил слов от восхищения перед ее комическим талантом. “Видели бы вы мою старуху!” - повторял он, кивая опухшей от пива физиономией. Как-то вечером они дали спектакль во дворе конюшни при свете пылающих фонарей - сквернейшее представление, холодно принятое деревенской публикой. На следующий вечер, едва были зажжены фонари, полил дождь, и они, собрав свой жалкий реквизит, поспешили укрыться в приютившем их сарае - холодные, мокрые и голодные.

Утром мой очень близкий друг, питавший такую же нежную слабость к бродячим актерам, как и я, собрал для них кое-какие деньги и попросил меня передать им эту сумму, чтобы они могли утешиться после вчерашней неудачи. Я вручил деньги отцу, который сердечно меня поблагодарил, и мы распили на кухне по стаканчику, беседуя о дорогах, публике и тяжелых временах.

Когда я собрался уходить, мой старикан вдруг вскочил и сдернул шляпу с головы.

- Боюсь, - сказал он, - что мсье сочтет меня совсем уж попрошайкой, но все же я хотел бы попросить его еще кое о чем.

Я тут же проникся к нему ненавистью.

- Сегодня мы снова даем представление, - продолжал он. - Конечно, я не возьму еще денег с мсье и его столь щедрых друзей. Но наша нынешняя программа, право же, угодит самому взыскательному вкусу, и я льщу себя надеждой, что мсье почтит нас своим присутствием. - Пожатие плеч, улыбка. - Тщеславие художника; мсье, конечно, это понимает.

Только послушайте! Тщеславие художника! Вот такие вещи и примиряют меня с жизнью: оборванный, полупьяный, бездарный старый плут с манерами джентльмена и тщеславием художника, которые питают его самоуважение!

Но человек, покоривший мое сердце, - это мсье де Воверсен. Прошло почти два года с того времени, как я увидел его в первый раз, и я от всей души надеюсь, что буду еще часто с ним встречаться. Вот его первая программка, которую я нашел когда-то на столе перед завтраком и сохранил как сувенир счастливых дней:

”Уважаемые дамы и господа!

Мадмуазель Ферраръо и мсье де Воверсен будут иметь честь исполнить сегодня вечером следующие номера:

Мадмуазель Феррарьо споет “Крошку”, “Веселых птиц”, “Францию”, “Тут

опят французы”, “Голубой замок”, “Куда отвезти тебя?”.

Мсье де Воверсен исполнит “Госпожа Фантен и господин Робине”, “Всадников-пловцов”, “Недовольного мужа”, “Молчи, мальчишка!”, “Мой чудак сосед”, “Вот мое счастье”, “Ах, вот как можно ошибиться!”.

В углу общего зала была построена эстрада. Ах, как приятно было смотреть на мсье де Воверсена, когда он с папиросой во рту бренчал на гитаре и покорным любящим взглядом собаки следил за глазами мадмуазель Феррарьо! В заключение программы была устроена “томбола” - распродажа лотерейных билетов с аукциона: превосходное развлечение, азартное, как рулетка, но без какой-либо надежды на выигрыш, так что можно не стыдиться своей горячности.
В любом случае тут можно только проиграть, и человек торопился в этом состязании потерять как можно больше денег в пользу мсье де Воверсена и мадмуазель Феррарьо.

Мсье де Воверсен - невысокий брюнет с буйной копной волос, задорным и лукавым лицом и улыбкой, которая была бы восхитительна, если бы не его скверные зубы. Некогда он был актером театра “Шатле”, но от жара огней рампы и их резкого света у него началось нервно” заболевание, вынудившее его покинуть сцену. В этот черный час мадмуазель Феррарьо-тогда мадмуазель

Рита

из “Алькасара” - согласилась разделить его бродячую судьбу. “Я никогда не

забуду ее великодушия”, - любит он повторять. Он носит брюки в обтяжку, столь узки”, что все знающие его ломают голову, каким образом он умудряется

влезать в них и стягивать их с себя. Он рисует акварели, он сочиняет стихи, он рыболов неиссякаемого терпения и тогда целыми днями сидел в глубине

гостиничного сада, без всякого толку забрасывая удочку в прозрачную речку.

Жаль, что вам не доводилось слышать, как он рассказывает о своей

пестрой жизни за бутылкой вина: он чудесный рассказчик и всегда готов первый

посмеяться над своими невзгодами, но порой он вдруг становится серьезен, точно человек, который повествует об опасностях океана и вдруг слышит рокот

прибоя. Ведь, быть может, не далее, как накануне, сбор составил всего

полтора франка, тогда как на железную дорогу было израсходовано три франка

да на ночлег и еду еще два. Мэр, человек с миллионным состоянием, сидел в

первом ряду, то и дело аплодировал мадмуазель Феррарьо и, однако, дал за

весь вечер не больше трех су. Местные власти очень неблагосклонны к бродячим

артистам. Увы! Мне ли не знать этого: как-то раз меня самого приняли за

бродячего актера и в силу этого заблуждения безжалостно ввергли в

узилище.

Однажды мсье Воверсену пришлось побывать у полицейского комиссара, чтобы получить разрешение на выступление. Комиссар, покуривавший в приятном безделье, вежливо снял фуражку, когда певец переступил порог комнаты. “Господин комиссар, - начал он, - я артист…” И фуражка комиссара была тотчас водворена назад на его голову. Вежливое обхождение не для спутников Аполлона. “Так низко они пали!” - пояснил мсье де Воверсен, вычерчивая папиросой крутую дугу.

Но больше всего мне понравилась одна его вспышка, когда мы весь вечер беседовали о трудностях, унижениях и горькой нужде его бродячей жизни. Кто-то заметил, что миллиончик в кармане был бы куда приятней, и мадмуазель Феррарьо от души с этим согласилась. “Eh bien, moi non - а я так нет! - воскликнул де Воверсен, ударив кулаком по столу. - Если в мире найдется неудачник, то, уж конечно, это я. Я служил своему искусству, и служил ему хорошо, не хуже кое-кого и, наверное, лучше многих и многих, а теперь оно для меня недоступно. Я вынужден бродить по стране, собирая медяки и распевая всякую чепуху. И вы думаете, я жалею себя? И вы думаете, я предпочел бы

стать буржуа, жирным, как теленок, буржуа? Ну, нет! Когда-то мне рукоплескали на подмостках - это пустяки, но порой, когда в публике не раздавалось ни единого хлопка, я все равно чувствовал, что нашел верную интонацию или точный выразительный жест; и тогда, господа, я познавал истинную радость, я понимал, что значит сделать что-то хорошо, что значит быть артистом! А познать искусство - значит обрести в жизни вечный интерес, недоступный жирному буржуа, занятому только своими мелкими делишками.

“Tenez, messieur, je vais vouz dire {Послушайте, господа, что я вам скажу (франц.).} - это как религия”.

Таково было исповедание веры мсье де Воверсена, если сделать скидку на погрешности памяти и неточность перевода. Я назвал его настоящее имя, так как и другие путешественники могут повстречать его с его гитарой, неизменной папиросой и мадмуазель Феррарьо; разве не должен весь мир с восторгом воздать дань уважения этому злополучному и верному поклоннику муз? Да ниспошлет ему Аполлон стихи, какие никому еще не снились, да не будет больше река скупиться для него на свое живое серебро, да будут милостивы к нему морозы во время долгих зимних поездок, да не оскорбит его грубый деревенский чинуша и да не покинет его мадмуазель Феррарьо, чтобы он мог всегда

смотреть

на нее преданными глазами и аккомпанировать ей на своей гитаре!

Марионетки оказались на редкость скверными. Они исполнили пьесу под

названием “Пирам и Тисба” в пяти чудовищных актах, написанную с начала и до

конца александрийским стихом, длиной равным росту исполнителей. Одна

марионетка была королем, другая - злым советником, третья - якобы

необыкновенная красавица - изображала Тисбу; кроме того, имелись стражники, упрямые отцы и придворные. В течение тех двух-трех актов, которые я высидел, не произошло ничего особенного, но вам будет приятно узнать, что единства

соблюдались надлежащим образом и вся пьеса, за одним исключением, развивалась в строгом согласии с классическими правилами. Исключение же

составлял комический селянин, тощая марионетка в деревянных башмаках, изъяснявшаяся прозой и на очень сочном диалекте, что весьма нравилось

зрителям. Селянин этот позволял себе всякие неконституционные вольности по

отношению к особе своего монарха, бил коллег-марионеток деревянным башмаком

в зубы и в отсутствие стихоговорящих поклонников принимался сам ухаживать за

Тисбой, но в прозе.

Выходки этого персонажа и маленький пролог, в котором хозяин театра

произнес юмористическую апологию достоинствам своей труппы, восхваляя

актеров за их равнодушие к рукоплесканиям и шиканью, а также за неизменную

преданность своему искусству, - только это, казалось бы, и могло за весь

вечер вызвать хоть подобие улыбки. Однако жители Преси были, по-видимому, в

полном восторге от представления. С другой стороны, если вы платите за право

увидеть что-то, это что-то непременно доставит вам удовольствие. Если бы с

нас брали по столько-то с головы за созерцание заката или если бы господь

посылал сборщика с бубном перед тем, как зацветет шиповник, как громогласно

упивались бы мы их красотой! Но глупые люди быстро перестают замечать

подобные вещи, как и добрых друзей, и Абстрактный Коммивояжер катит в своей

рессорной тележке, не видя ни цветов по сторонам дороги, ни небесных красок

у себя над головой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР

От следующих двух дней моя память сохранила очень немногое, а моя

записная книжка - совсем ничего. Река струилась ровно и неторопливо среди

красивых пейзажей. Прачки в голубых платьях и рыбаки в голубых блузах

оживляли однообразную зелень берегов, и это сочетание напоминало цветы и листья незабудок. Симфония в незабудках - так, мне кажется, мог бы определить Теофиль Готье панораму этих двух дней. Небеса были голубыми и безоблачными, и скользящая поверхность воды служила на плесах зеркалом небу и берегам. Прачки, смеясь, окликали нас, ропот деревьев и воды аккомпанировал нашим мыслям, а мы все неслись вниз по течению.

Мощь и неутомимая целеустремленность реки завораживали рассудок. В ней теперь чувствовалась уверенность в достижении цели, сила и спокойствие зрелого, полного решимости человека. На песках Гавра нетерпеливо гремел ждущий ее прибой.

Что до меня, то, скользя по этой движущейся проезжей дороге в скрипичном футляре моей байдарки, я тоже начинал скучать по моему океану. Цивилизованный человек рано или поздно преисполняется тоски по цивилизации. Мне надоело погружать весло в воду, мне надоело жить на задворках жизни, я жаждал вновь очутиться в самой ее гуще, я жаждал приняться за работу, я жаждал вернуться к людям, понимающим мой язык, для которых я человек, во

всем им равный, а не диковинка.

Письмо в Понтуазе подтолкнуло нас принять окончательное решение, и мы в последний раз подняли свои суденышки из воды Уазы - реки, которая так долго и так верно несла их на своем лоне и в дождь и в ведро. Столько миль это стремительное и безногое вьючное животное влекло наши судьбы, что, разлучаясь с ним, мы испытывали грусть. Мы сделали большой крюк за пределами мира, но теперь возвращались в привычные места, где мчится поток, именуемый жизнью, и где мы уносимся навстречу приключениям без помощи весла. Теперь нам, точно путешественникам в какой-нибудь пьесе, предстояло вернуться и увидеть, какие изменения внесла судьба в наше окружение за время нашего отсутствия, какие сюрпризы ждут нас дома, а также куда и далеко ли продвинулся за этот срок весь мир. Греби хоть весь день напролет, но только вернувшись к ночи домой и заглянув в знакомую комнату, ты найдешь Любовь или Смерть, поджидающую тебя у очага; и самые прекрасные приключения - это не те, которые мы ищем.